
Антония С. Байет
АНГЕЛЫ
и насекомые
ИЗДАТЕЛЬСТВО НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

Ангел супружества
Антония Байетт

Аннотация
Антония Байет. АНГЕЛ СУПРУЖЕСТВА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Аннотация

Антония Байет — современная английская писательница, лауреат Букеровской премии 1990 года (роман «Одержимость»), В книгу «Ангелы и насекомые» вошли два ее романа — «Морфо Евгения» и «Ангел супружества», повествующие о быте и нравах высшего общества викторианской Англии. В «Морфо Евгении» люди уподоблены насекомым, а в «Ангеле супружества» говорится об их общении с призраками, с духами умерших.

Антония Байет
АНГЕЛ СУПРУЖЕСТВА

I

Лилиас Папагай старалась не давать воли воображению. В ее ремесле оно было необходимо, но поскольку вызывало подозрительность, его приходилось сдерживать, обуздывать. Софи Шики, обладавшая способностью видеть своими глазами и слышать своими ушами гостей-призраков, была заметно флегматичнее и приземленнее. Так что они стали отличной парой медиумов;[1] миссис Папагай интуитивно почувствовала, что у них все будет отлично получаться, когда ее соседка миссис Поуп впала в истерику, услышав, как новая гувернантка беседует в детской с кузиной

[1] Примечания: 1

Общение с духами при помощи медиумов, или спиритизм, пришло в Европу из Соединенных Штатов — основатель теории спиритизма американец Эндрю Джексон Дэвис (1826–1910), сын сапожника, за несколько лет добился того, к чему человечество шло веками. Все души, утверждал Дэвис, и живые и мертвые, движутся по пути самоусовершенствования. Физическая смерть облегчает и ускоряет этот процесс, поэтому души умерших знают больше, чем живые. Он полагал, что «настало время, когда два мира, духовный и естественный, оказались подготовлены к тому, чтобы встретиться и обняться на почве духовной свободы и прогресса». (Цит. по книге Е. Колесова «Тринадцать врат эзотерики».) В 50-х и 60-х годах прошлого века спиритизмом увлекались практически все. Так, француз Аллеи Кардек, активно общавшийся с духами, изложил свой опыт в «Книге духов». «Если не брать случай чистого шарлатанства, — пишет Е. Колесов, — так называемые спиритические сеансы, очевидно, представляют собой просто коллективную

медитацию, во время которой медиум находится в состоянии транса».

Гертрудой и ее малышом Тобиасом, утонувшими много лет назад.

— Они сидят за столом, — сообщила хозяйке Софи Шики, — а их одежда, хотя совсем свежая и сухая, пахнет соленой водой. Они спрашивают, где часы деда, что стояли в углу детской.

Тобиас любил смотреть, как улыбающиеся солнце и луна на циферблате догоняют друг друга. Миссис Поуп продала часы и не хотела теперь ничего об этом слышать. Миссис Папагай предложила хрупкой, бесстрастной мисс Шики пожить у нее, и та, собрав свои нехитрые пожитки, перебралась к ней. Сама миссис Папагай на сеансах ограничивалась пассивным письмом (по общему признанию, весьма многословным) и считала, что Софи Шики способна творить настоящие чудеса. Софи и в самом деле изумляла и ошеломляла всех, хотя и не часто. Но скупость ее откровений убеждала присутствующих в их подлинности.

Однажды ненастным вечером 1875 года женщины шли по маргитской[2] набережной, направляясь к миссис Джесси на спиритический сеанс. На Лилиас Папагай, шагавшей впереди, было густого

[2] Примечания: 2

Маргит (Маргейт) — город на юго-востоке Англии. Расположен на берегу Северного моря. Из-за обширных песчаных пляжей город уже с XVIII в. популярен как морской курорт.

винного цвета шелковое платье с оборчатым шлейфом и шляпа, отягощенная загадочно мерцавшим плюмажем из чернильно-черных перьев с изумрудными крапинками, с радужно-синими, как стрекоза, и ультрамариновыми пятнами; элегантные хвостовые перья соседствовали с крыльями вроде тех, какие старые живописцы изображали на шлеме и сандалиях Гермеса. На Софи Шики было серо-сизое шерстяное платье с белым воротничком, в руке она держала удобный черный зонтик.

Солнце, огромный багровый диск цвета свежего ожога, опускалось на серую воду, и потоки рубиново-золотого света проливались вниз сквозь сито стальных облаков, как отблеск огня сквозь начищенную решетку камина.

— Взгляни-ка, — сказала Лилиас Папагай, повелительно взмахнув рукой в перчатке. — Видишь Ангела? Он облечен в облако, над головою его радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него книжка раскрытая.[3]

Она-то видела, как ноги колосса из облачных мускулов и жил упираются в море, видела его огненно-красный лик и пылающие ступни.

---

[3] Примечания: 3
Отк., 10, 1.

Она понимала, что преувеличивает. Но ей так хотелось увидеть, как множество невидимых небожителей плывут к своей цели, затеняя солнце перистыми крыльями. Она знала, что их мир проникает в наш мир, он пронизывает и серый незыблемый Маргит, и Стоунхендж, и Лондон. Софи Шики заметила, что закат сегодня и в самом деле очень живописен. Огненная нога ангела вспыхнула и вытянулась, пустив розовую рябь по хмурой воде. Серое, пухлое, облитое золотом тулово ангела изгибалось и скручивалось.

— Как я люблю смотреть на закат! — сказала Софи Шики. У нее было бледное, как полная луна, лицо с рябинками от перенесенной в легкой форме оспы, усыпанное кое-где веснушками. Высокий лоб и пухлые бесцветные губы, обычно покойно сомкнутые, как сложенные ладони. Длинные, шелковистые и почти невидимые ресницы; из-под тяжелых темно-русых прядей виднелись уши в прожилках. Она бы не удивилась, скажи ей кто, что солнце и луна для обычного глаза человека постоянного размера, примерно с гинею. А миссис Папагай, вслед за Вильямом Блейком, была склонна видеть в небесных светилах неисчислимое Воинство Небесное, восклицающее: «Свят, свят, свят Всемогущий

Господь Бог», или вместе с Эмануэлем Сведенборгом[4] видеть легионы небожителей, огненными сферами проплывающих в вышине. Над головой сердитые чайки дрались за лакомый кусочек. Но вот, пронзительно крича и хлопая крыльями, они тучей взмыли ввысь, и ангел миссис Папагай распался на куски и расплавился. Его прощальный свет на миг зарумянил бледное лицо Софи. Они ускорили шаг. Миссис Папагай никогда никуда не опаздывала.

В гостиной миссис Джесси собралась обычная компания. Комната была неуютной; миссис Джесси никогда не заботилась об уюте, кое-где лежала пыль, мебель поцарапана, кружевные занавеси слегка потерты. В застекленных шкафах много книг; вазы и ящики с коллекциями камней и ракушек тоже копили пыль. В окне установлена до

[4] Примечания: 4

Эмануэль Сведенборг (1688–1772) — шведский естествоиспытатель, ясновидец и философ. У Сведенборга пробудилось эзотерическое сознание в 1744 г. и открылся дар «ясновидения во времени и пространстве». По Сведенборгу, источник всего сущего — Божественные любовь и мудрость, а разноликость вещей объясняется тем, что вещи приняли разные ипостаси этих божественных качеств. В силу этого каждая материальная вещь находит соответствие в божественном. Отец, Сын и Дух представляют единство трех качеств Бога: любви, мудрости и движения. Тройственность Бога соответствует тройственной природе человека, единству души, тела и разума. Сведенборг основал церковь «Нового Иерусалима», в которую и поныне входят его последователи по всему миру.

блеска начищенная латунная подзорная труба; отдельный шкаф занимали другие навигационные приборы: секстант, хронометр и компасы. На малиновом бархате сияли «Medaille de Sauvetage en Or»,[5] выбитая для капитана Джесси по особому распоряжению Наполеона III, и серебряная медаль Королевского общества спасения утопающих, похожая на лунный диск величиной с тарелку. Обе награды капитан Джесси получил, уже выйдя в отставку и поселившись в Маргите: трижды в отсутствие обычной спасательной шлюпки он собирал местных рыбаков, спускал лодку, сам становился к румпелю и выходил спасать корабли, застигнутые в море штормом или сильной волной. Трижды — с французского, английского и испанского кораблей — он спасал всех до единого членов экипажа. Это случилось еще до их знакомства с миссис Папагай, и теперь она готова была часами слушать подробный рассказ капитана об этих таких реальных и таких романтичных спасательных экспедициях и словно воочию видела, как беснуется море, бушуют, ревут, вздымаются и рассыпаются волны, меж бегущих грозовых туч вспыхивают искорки звезд,

[5] Примечания: 5
Золотая медаль за спасение утопающих (фр.).

далекие огни набережной прокалывают кромешную тьму, а бесстрашный капитан Джесси умело крепит канаты; окатываемый потоками воды, карабкается по кренящейся палубе, спускается по мокрому трапу в каюту, где кипит и клокочет вода, чтобы спасти маленького юнгу-француза, и надевает на щуплое полуживое тельце свой спасательный пояс, хотя сам, как почти все капитаны, не умеет плавать.

— Ричарду страх неведом, — говаривала миссис Джесси звучным, уверенным голосом, а капитан застенчиво кивал и бормотал, что, мол, правда, страхом природа забыла его наделить, что он действует безоглядно и так, как ему представляется необходимым в ту минуту, что, по его разумению, страх, несомненно, полезен большинству людей, но только ему он неведом, он не знает, что это за штука такая, а ведь верно говорят, что истинное мужество доступно лишь тем, кто умеет бояться; а он, точно принц из сказки, не помнит уже из какой, не представляет себе, что такое чувство страха; хотя вроде, если припомнить и подумать как следует, замечал страх в других, правда, долго он над этим не размышлял, почти совсем не размышлял. Капитан Джесси был многословен и говорил нескладно; странно было слышать

такую речь из уст этого солидного, энергичного человека.

Высокий, подтянутый, седовласый, с окладистой седой бородой, капитан стоял у камина и беседовал с мистером Хоком. Последний совмещал много должностей: был дьяконом Новоиерусалимской Церкви, редактором «Духовного листка», доверенным лицом Фонда помощи морякам, а по вечерам — председателем на сеансах. Внешне мистер Хок ничем не походил на ястреба;[6] это был круглый человечек (миссис Папагай называла его про себя яблочком) с круглым брюшком и круглыми, лоснящимися красными щеками, на которые с круглой, розовой плешивой головы падали волнистыми прядками рыжеватые волосы. По ее оценке, ему было за пятьдесят; он был холост. Они с капитаном Джесси вели беседу, почти не слушая друг друга. Мистер Хок был знатоком богословия. В свое время он перебывал ритуалистом, методистом, квакером, баптистом, теперь же нашел успокоение, — кто знает, временное или постоянное — в лоне Новоиерусалимской Церкви, которая явилась в духовный мир в 1787 году, когда приказал долго жить старый религи-

---

[6] Примечания: 6
Имя Хок от «hawk» (англ.) — ястреб.

озный порядок и Эмануэль Сведенборг, духовный Колумб, совершив странствия по многочисленным Небесам и Преисподним Вселенной, открыл для себя, что Вселенная есть форма Богочеловека, причем все духовное и сущее соответствует одной из частей тела этого бесконечного Великого Человека.

Капитан Джесси и мистер Хок пили чай. Капитан Джесси рассказывал, что чайные кусты разводят на горных склонах Цейлона, и расхваливал чай, который пил когда-то: «Он ароматный и свежий на вкус, сэр, как здешний настой листьев малины; чай, который перевозят в ящиках, обитых внутри свинцом, отдает плесенью, а для тех, кто пил его на его родине из простых глиняных чашек, не больше вот этой солонки, чай имеет вкус земли, сэр, и солнца, не чай — настоящий нектар». Мистер Хок рассказывал также о пристрастии Сведенборга к кофе и о том, что люди неумные утверждали, что его видения — следствие чрезмерного количества выпитого кофе и его пагубного влияния на организм.

— Ибо кофе, полагают они, воздействуя на темперамент, вызывает возбуждение, бессонницу, приводит к аномальным реакциям мозга и воображения, вызывает фантастические видения и

логорею. Я допускаю подобное воздействие кофе, я сам это наблюдал. Но только недалекий человек станет утверждать, что «Аркана» или «Дневник» получены благодаря кофейнику. Тем не менее и в этом кроется истина: Бог сотворил Вселенную, а следовательно, все сущее, — и кофейный куст, и кофейные бобы. Если кофе располагает к ясновидению, не понимаю, почему средство может повредить цели. Провидцы, несомненно, такие же упорядоченные организмы, как и любой кристалл, и при необходимости они способны извлекать пользу из наркотика и из любого плода. Мы живем в век материализма, капитан Джесси: нет более метафизики, миновало то время, когда что-либо происходило из ничего. Если видения хороши, то, по-моему, столь же хорош их материальный источник. Пусть видения служат показателем качества кофе и наоборот.

— Зеленый чай тоже вызывает галлюцинации, — отвечал капитан Джесси. — На нашем судне был матрос-индиец, так ему в парусах все время мерещились черти, покуда помощник не заставил его пить меньше чая.

Миссис Папагай подошла к миссис Джесси; та сидела на софе с миссис Герншоу и разливала чай в чашки, расписанные гирляндами из пух-

лых розовых бутонов и ярких незабудок. Миссис Герншоу была в черных траурных шелках, ее пышные каштановые волосы покрывал черный кружевной чепец, большой эбеновый медальон на цепочке из резных гагатовых звеньев покоился на ее полной груди. У нее была кремового оттенка кожа, глаза — большие, прозрачно-карие, но вокруг них лежали синевато-серые тени, а губы — искусанные и поблекшие. Она недавно похоронила пятую за последние семь лет крошку, Эми Герншоу: они жили недолго — от трех недель до одиннадцати месяцев; всех их пережил маленький Джекоб, болезненный трехлетний малыш. Мистер Герншоу разрешал жене посещать спиритические сеансы, но сам на них не появлялся. Он был директором школы и твердо держался христианской веры в ее довольно мрачном варианте. Он был убежден, что смертью дочерей Бог испытывает его и наказывает за маловерие. В спиритизме он, однако, не видел ничего дурного и порочного, ибо и ангелы, и духи — постоянные персонажи Старого и Нового Заветов. По мнению миссис Папагай, он позволял жене посещать сеансы, потому что она постоянно выплескивала на него свои страдания, что, в свою очередь, было для него нестерпимо, лишало его

душевного покоя. Ни его натура, ни профессия не допускали несдержанность чувств. Если бы Анни обрести утешение, в доме сделалось бы спокойнее. Во всяком случае, миссис Папагай, великая мастерица сплетать картину из разрозненных тонких нитей слов, чувств и взглядов, полагала, что он рассудил именно так.

Миссис Папагай любила истории. Она плела их из сплетен и наблюдений, она рассказывала их себе по ночам или когда шла по улице, она постоянно старалась не пропустить ни одной сплетни, разузнать всю подноготную, чтобы постичь хитросплетения судеб, проследить причинно-следственные цепочки чужих жизней. Внезапно овдовев и оставшись без средств к существованию, она взялась было записывать свои истории, надеясь заработать, но либо не владела словом, либо писать для публики ей претило — как бы там ни было, но из-под ее пера выходила неживая, приторно-сладкая писанина, неинтересная даже ей, и тем более другим. (Иное дело — бессознательное письмо) Она вышла за капитана торгового корабля мистера Папагая, метиса по происхождению, потому что, как Отелло Дездемону, он очаровал ее рассказами о своих подвигах и лишениях в дальних странах.

Десять лет назад он утонул где-то в Антарктике; она считала его мертвым, потому что вот уже десять лет ни о «Калипсо», ни об экипаже не было никаких вестей. Первый раз она посетила сеанс, чтобы узнать, вдова она или нет, и получила, как это часто бывает, двусмысленный ответ. Сеанс проводила самоучка, очень взволнованная своей недавно открывшейся чудесной способностью, она продиктовала ей послание от Артуро; для вящей достоверности он упомянул о своих черных вьющихся волосах, золотом зубе, кольце-печатке с сердоликом и велел передать милой возлюбленной, что обрел покой и ей желает покоя и радости, ибо грядет время, когда прежнее небо и прежняя земля минуют, и моря уже не будет, и Бог отрет всякую слезу с очей их.[7]

Миссис Папагай не была вполне уверена, что это послание Артуро, — тот выражал свои чувства обычно короче, грубее и озорнее, к тому же он не смог бы обрести покой, довольство и радость там, где нет моря, Артуро не умел сидеть сложа руки, а море — его запах, его дыхание, его неспокойная, опасная, бездонная пучина — тянуло его к себе как магнит. Впервые самостоятельно попробо-

---

[7] Примечания: 7
Отк., 21, 7; 7, 17.

вав бессознательное письмо, миссис Папагай получила послания от Артуро, этот факт она не подвергала сомнению, Артуро из прошлого или настоящего, живого или, быть может, мертвого, оплетенного путами водорослей или путами ее памяти. Послушные пальцы выводили ругательства на языках, неизвестных ей, она и не думала переводить их, ибо и без того хорошо знала, о чем приблизительно говорят все эти «эфы, коны и куны» — такими короткими словами Артуро выражал как гнев, так и острое наслаждение. Она произнесла нараспев:

— О, жив ты или мертв, Артуро? — и получила в ответ:

«озорная раковины корабль путы морская трава песок песок бейся бейся море[8] *озорница Лилиас, infm che'l marfu sovra noi richiuso».*[9]

Из этого она заключила, что муж все-таки утонул и, погибая, боролся со смертью. Тогда она надела траур, взяла к себе двух жильцов, начала писать роман и все дальше уходила от реальности в бессознательное письмо. Мало-помалу она

---

[8] Примечания: 8

Слова из стихотворения А. Теннисона «Бейся, бейся, море».

[9] Примечания: 9

«И скрылся там, где скверно жжет пучина». Строка из «Божественной Комедии» Данте (песнь XXVI). Пер. М. Лозинского.

вошла в круг тех, кто пытался установить контакт с миром духов. Она стала желанной гостьей на сеансах в частных домах, ибо в ее присутствии незримые пришельцы всегда выстукивали послания усерднее и были более подробны и впечатляющи, чем их обычные туманные фразы. Она научилась входить в транс; транс несколько напоминал обморок: жар сменялся ознобом, выступал холодный липкий пот, подкатывала тошнота; правда, ее угнетало то, что она, умная и добропорядочная женщина, теряет над собой контроль. Находясь на другом конце кремового туннеля, в который она попадала, точно сквозь сетку, она наблюдала, как ее ботинки колотят по ковру, слышала, как надрываются ее бедные голосовые связки, когда хриплые чужие голоса говорят через нее. Только теперь она совершенно уверилась, что пассивное письмо — не плод ее сознания. Через нее говорили то добрый дух по имени Помона, то другой, по имени Даго, назойливый и озорной. После того как Софи Шики стала ее напарницей, она реже входила в транс, ибо Софи ускользала в другой мир без всякого усилия, оставляя на земле лишь холодную как лед оболочку, и тогда ее дыхание едва затуманивало серебряную ложку. Она рассказывала о

странных видениях и передавала странные речи, она могла с поразительной точностью указать, где искать потерянную вещь или пропавшего родственника. Миссис Папагай была убеждена, что при желании Софи может заставить духа материализоваться, как это делали знаменитая Флоренс Кук со своей напарницей Кэти Кинг. Софи не было свойственно любопытство, и она не видела собственной выгоды, а потому спросила: «Зачем это?» и добавила, что не представляет, зачем бы мертвым желать вновь обрести тело, ведь их бестелесное бытие намного лучше. «Они не для того существуют, чтобы разыгрывать цирковые фокусы, — говорила она. — Материализация повредит им». Миссис Папагай, будучи умной женщиной, согласилась с ней.

Исподволь, при помощи маленьких хитростей, им удалось выскользнуть из мира чисто любительского, домашнего спиритизма и попасть в утонченный мир платных медиумов. Ничего вульгарного они себе не позволяли, лишь принимали «благодарность» от джентльменов, устраивавших сеансы, и брали гонорар за консультации. «Разве я не вправе, миссис Папагай, отблагодарить вас за ваши таланты, как благодарю священника, хорошего музыканта или

целителя? Всем нам необходимо уберечь душу в нашем бренном теле до наступления того благостного момента, когда мы перешагнем могильную черту и соединимся с Ними».

Миссис Папагай была женщиной думающей, обладавшей пытливым умом. Родись она веком раньше, она была бы увлекающейся богословием монахиней, родись веком позже — изучала бы философию, психологию или медицину в университете. Она часто задавалась сложными вопросами, например таким: «Почему только сейчас, лишь с недавнего времени мертвые при помощи стуков, посланий, эманации, материализации и произвольно двигающихся книжных полок стали вторгаться в мир живых?» Историю она знала неважно, хотя прочитала все романы Вальтера Скотта, но считала, что было время, когда мертвые уходили далеко в мир иной, откуда нет возврата. Однако и во времена Учителей, и еще раньше, во времена Пророков, в мир людей вплывали прекрасные ангелы, принося с собой яркий, мягкий свет, небесную музыку, волнуя людей своим таинственным и вещим появлением. Отцы Церкви тоже их видели, а некоторые видели и мятущихся духов. Являлся призрак отца Гамлета, завернутые в саван мертвецы визжали

и болтали вздор на улицах Рима; и в Англии, конечно же, на больших и малых дорогах, в старых домах всегда водились и до сих пор водятся призраки — стучат по ночам, испускают неприятные запахи, издают завораживающие вибрирующие звуки, жутко таращат на вас глаза, заставляют вас леденеть от ужаса и нагоняют тоску, — разные призраки: буки, кикиморы, привязчивый сердитый мертвец фермер, молодая женщина, испытывающая жуткие муки.

Но откуда они явились и что нужно им, этим полчищам ночных гостей, дядюшкам и тетушкам, поэтам и художникам, невинным младенцам и буйным утопшим морякам, которые стоят за каждым стулом, заключены в каждом шкафу, которые во множестве собираются в саду и толпами взбираются по лестнице? На стенах старых церквей, на алтарной стене Сикстинской капеллы[10] сидит на привычных местах рядом друг с другом небесная паства с золотыми нимбами над головой, а грешники стонут и извиваются в руках черных демонов с жаркими алыми языками,

[10] Примечания: 10

Сикстинская капелла в Ватикане была построена в конце XV в. как домовая церковь. Ныне музей. Стены и потолок капеллы расписаны фресками итальянских художников, в частности стена за алтарем — сценами Страшного суда работы Микеланджело.

которые влекут их в преисподнюю. Быть может, наши новые знания о мире потревожили и тех и других? Звезды сияют, рассекая пустоту, — мы знаем теперь, что они всего лишь солнца, которые могли бы сжечь наш маленький мир, как уголья сжигают апельсиновую косточку. А под геенной расстилаются зеленые луга Новой Зеландии и красные австралийские пустыни. «Теперь мы знаем это, — размышляла миссис Папагай, — и представляем мир именно таким; небо и ад все меньше для нас значат. Но мысль, что по смерти мы превратимся в ничто, как кузнечики или убойный скот, эта мысль нам невыносима. И мы просим их, наших ангелов, прийти и успокоить нас. И они приходят, приходят на наш зов».

Но в глубине души она знала, что ходит на сеансы, пишет, выстукивает, и кричит не ради успокоения, а ради настоящего, ради более полновесной жизни сегодня, — не ради жизни После, которая никогда не изменится. Иначе что бы ожидало ее, бедную вдову не вдову, как не тоскливое существование в замкнутом пространстве? Она терпеть не могла болтовни о чепчиках, вышивках и вечных недоразумениях со слугами — ей хотелось подлинной жизни. И общение с мертвыми было наилучшим способом

узнавать, исследовать и любить живых, но не такими, какими они становились во время чайной церемонии, а как людей с душой, тайными желаниями и страхами. Они открывались перед ней, миссис Папагай, — людям своего круга они не доверились бы никогда. Миссис Джесси пусть и не была богата, но происходила из благородной семьи, а капитан — из мелкопоместных дворян. Если бы не Духовный мир, который уравнивает великих и малых, миссис Папагай не имела бы возможности общаться с четой Джесси.

II

Миссис Джесси была маленькая красивая женщина лет шестидесяти с небольшим. Ее импозантная голова казалась великоватой для щуплого тела. У нее были очень ясные голубые глаза и глубоко изрезанное морщинами смуглое цыганское лицо с резко очерченным профилем. Красивые темные с проседью волосы все еще были пышными; она подвязывала их изящными лентами. Ее руки напоминали птичьи лапки, взгляд проницательный, птичий, голос удивительно глубокий и звучный. Ее сильный линкольнширский акцент очень удивил миссис Папагай. Миссис Джесси говорила с апломбом: в тот вечер, когда они познакомились, присутствующие завели речь о разных стадиях горя и миссис Джесси кивала с видом знатока:

— Мне это знакомо. Я это пережила, — подхватывала она, словно трагический хор. — Я все пережила. Мне все это знакомо. Я не желаю нового чувства. Мне известно, что такое душа как камень.

Этот воодушевленно-однообразный пафос

напомнил миссис Папагай «Никогда» жуткого ворона мистера По, к тому же миссис Джесси неизменно сопровождал ее любимец, ворон по кличке Аарон; она привязывала его за кожаный поводок к запястью и кормила сырым мясом из зловещего мешочка, который ворон носил на себе. Помимо Аарона на сеансах присутствовал Мопс, уродец серого, будто слон, цвета, чьи мелкие, тоже цвета слоновой кости зубы нависали над вывороченными губами; у него были умные, выпученные карие глаза. Мопс был невосприимчив к всплескам эмоций сидящих у стола и обычно дремал на кушетке, а в наиболее напряженные моменты даже храпел, фыркал или чавкал во сне. Иногда и Аарон нарушал глубокую сосредоточенность — начинал стучать когтями, хрипло каркать или, встряхиваясь, шуршал перьями.

Миссис Джесси была героиней трагической истории. В юности, девятнадцатилетней девушкой, она полюбила, и ее полюбил блестящий молодой человек, университетский друг ее брата; он приехал в гости в дом приходского священника, где в уединении жила ее семья, и очень скоро осознал, как близки их души. Он попросил ее стать его женой. Но вмешался Рок в лице искушенного и честолюбивого отца юноши. Ему запретили ви-

деться с нею и объявлять о помолвке до тех пор, пока ему не исполнится двадцать один год. Наконец этот день настал; несмотря на долгую разлуку и враждебность отца, влюбленные упорно хранили друг другу верность. Объявили о помолвке, и молодой человек приехал на Рождество к своей невесте и ее родным. Потом они стали посылать друг другу нежные письма. Летом 1833 года он уехал с отцом за границу. Он написал ей по пути из Пешта в Вену, называя ее «Ma douce amie».[11] А в начале октября брат миссис Джесси получил письмо от дядюшки молодого человека. Миссис Папагай знала наизусть начало этого письма. Его читала ей своим глубоким меланхоличным голосом миссис Джесси; строки этого письма, слово в слово, задумчиво бормотал капитан Джесси.

> «Милостивый государь.
>
> Я пишу Вам, исполняя волю несчастных близких, которые, переживая безутешное горе, не нашли в себе сил лично написать Вам.
>
> Ваш друг и мой любимый племянник, Артур Галлам, оставил нас, — Богу было

[11] Примечания: 11
Мой нежный друг (фр.).

угодно восхитить его от земной жизни в тот лучший мир, для которого он был создан…

С бедным Артуром случился легкий приступ лихорадки — это бывало с ним часто… он приказал растопить камин… и продолжал говорить с обычной веселостью, как вдруг лишился чувств, и его дух отлетел без боли… доктор пустил кровь, а по обследовании составилось общее мнение, что ему не суждено было долго жить…»

Услыхав, что прибыла почта, молодая женщина сошла вниз и заставила пораженного брата прочитать ей письмо — свет померк в ее глазах, и она упала в глубокий обморок, но пробуждение было еще ужаснее, еще тяжелее, чем первый удар, рассказывала миссис Джесси, и миссис Папагай верила каждому слову, даже переживала это, так искренне и деликатно та повествовала.

«Он отошел совсем тихо и незаметно, — рассказывала миссис Джесси, — его отец долго еще сидел рядом с ним у камина, ничего не подозревая, полагая, что он занят чтением, пока его не насторожило чересчур затянувшееся молчание,

а может, что-то показалось ему странным; мы не знаем наверное что, а он не припомнит. Но когда он заговорил с моим дорогим Артуром и дотронулся до него, то обнаружил, что его голова лежит на кресле несколько неестественно, ответа не последовало. Тогда послали за хирургом; тот вскрыл локтевую вену и вену на запястье Артура, но тщетно, он ушел безвозвратно».

Год после этого черного дня она провела безвыходно в спальне, убитая горем, лишь потом она вновь предстала перед родными и друзьями; миссис Папагай представляла эпизод ее возвращения не глазами юной особы, как она воображала себе сцену, когда ее героиню настигает Рок, но видела все вопрошающими глазами присутствующих: вот она, с трудом сохраняя гордую осанку, едва передвигая ноги, входит в комнату; она в глубоком трауре, но с белой розой в волосах, как нравилось ее Артуру. Она вернулась в сей мир, но была не от мира сего, ее душа была больна, погружена во мрак. Поздно, слишком поздно — так часто бывает в трагедиях — суровый отец раскаялся в своей жестокости и пригласил возлюбленную сына в свой дом, где при жизни любимого она так и не побывала; она сделалась сердечной подругой его сестры, «вдовствующей дочерью» его

матери, и ей, по слухам, назначен был щедрый ежегодный пенсион в триста фунтов. Такие вещи держат в тайне, но все о них наслышаны; молва передает новость из гостиной в гостиную, люди восхищаются щедростью и в то же время с усмешкой спрашивают: «Отчего подобная щедрость: назначено ли ей купить любовь? или утишить чувство вины? или сохранить вечную верность умершему?» Последнее осуществить, очевидно, не удалось, ибо появился капитан Джесси. Миссис Папагай не знала точно, откуда он взялся. Ходили слухи, что замужество невесты Артура жестоко разочаровало и старого мистера Галлама, и ее брата Альфреда, близкого друга Артура. Миссис Папагай показали — под *строжайшим секретом* — письмо от поэтессы Элизабет Барретт[12] (написанное до того, как она сделалась миссис Браунинг, и до того, как сама присоединилась к блаженному сонму духов), где она называла поведение миссис Джесси «позорящим женскую половину человечества» и «верхом гнусности». Капитана Джесси — тогда, в 1842 году, он еще был лейтенантом Джесси — мисс Барретт презрительно именовала «неотесанным лейтенантишкой».

---

[12] Примечания: 12

Элизабет Баррет (Браунинг) (1806–1861) — английская поэтесса, жена поэта Р. Браунинга.

Она клеймила презрением жениха и невесту за то, что они не отказались от ежегодного пенсиона, выплату которого старый мистер Галлам, будучи человеком благороднейшим, решил не прекращать. И выказывала крайнее негодование по тому поводу (миссис Папагай временами была расположена считать это поэтическим и романтическим), что своего первенца они назвали *Артуром* Галламом Джесси: «То была отчаянная попытка проявить „чувство“, но попытка эта провалилась», — тогда, много лет назад, заявила мисс Барретт.

«Возможно, *миссис* Браунинг была бы милосерднее», — раздумывала миссис Папагай. Когда она сама бежала из дому и вышла замуж, ее умение сочувствовать чудесным образом проявилось.

Миссис Папагай хотелось представлять это крещение как залог вечной памяти, как Жизнь после Смерти для умершего возлюбленного, подтверждение дивной общности Духовного мира — для тех, кто верит в этот Мир. Ибо не сказал ли сам Господь Бог: «На небесах не будут ни жениться, ни замуж выходить»?[13] С другой стороны, Эма-

---

[13] Примечания: 13
Мат., 22, 30; Мар., 12, 25; Лука, 20, 35.

нуэль Сведенборг, побывавший на Небесах, видел бракосочетания Ангелов, соответствующие Единению Христа и Его Церкви, и потому держался иного мнения, по крайней мере умел объяснить, что имел в виду наш Господь — ведь супружеская любовь так важна для Ангелов. Имя *Артур Галлам Джесси* не принесло старшему сыну особого благополучия. Он выбрал карьеру военного, но, казалось, жил в собственном мире, возможно потому, что, как и у отца, его ярко-голубые глаза не глядели дальше собственного носа. Его черты, как у отца и младшего брата, были романтически красивы и выражали мягкое добродушие. Его крестным отцом стал старый мистер Галлам, он же был крестным отцом старшего сына Альфреда, также названного Артуром в память об усопшем. На сей раз это никого особенно не возмутило, так как Альфред Теннисон написал свою «In memoriam», сделавшей Артура Галлама, А.Г.Г., спустя двадцать лет со дня его смерти объектом национального траура, а позже люди начали путать молодого, блестящего Артура с покойным, всеми оплаканным принцем Альбертом[14] и, конечно же, с легендарным королем Артуром,

[14] Примечания: 14
Принц Альберт (1819–1861), муж королевы Виктории.

цветом рыцарства и душой Британии.

Софи Шики знала наизусть большие отрывки из «In memoriam». Она любила стихи, но совершенно не интересовалась романами, что миссис Папагай считала причудой ее вкуса. Она говорила, что любит ритм и ее воодушевляет поэзия, в первую очередь ритм, а уж потом смысл. Самой миссис Папагай нравился «Энох Арден»,[15] трагическая история моряка, который потерпел кораблекрушение, а по возвращении домой обнаружил, что жена благополучно вышла замуж и обзавелась детьми; моряк прожил остаток дней и умер в добродетельном самоотречении. Сюжет поэмы напоминал миссис Папагай сюжет собственного неудачного романа: моряк, один из всей команды уцелевший после пожара на судне в безбрежном океане, несколько месяцев провел на плоту под знойным солнцем, был спасен, некоторое время его удерживали у себя влюбленные в него таитянские принцессы, потом его захватили в плен пираты, после этого его насильно завербовали на военный корабль, который разгромил пиратов, он был ранен в жарком бою — наконец, возвратился к своей Пенелопе и обнаружил, что

---

[15] Примечания: 15
Поэма А. Теннисона (1864).

она вышла замуж за ненавистного кузена и стала матерью кучки малышей, похожих на него, но не от него. Этот последний момент миссис Папагай считала изящным трагико-ироничным штрихом, но она не сумела живо изобразить ни пожар на корабле, ни рабство, ни Таити, ни команду вербовщиков, хотя Артуро довольно часто живописал ей все это, когда они гуляли в Даунсе или сидели вечером у камина. Она до сих пор тосковала по Артуро, тем более что после него у нее никого больше не было. В поэме Лауреата[16] ей больше всего нравился стих, где говорится о том, какими бедами чревато возвращение мертвеца в мир живых:

Когда б мертвец в родимый дом,
Восстав, вернулся из могилы,
В супруге он и детях милых
Холодный встретил бы прием.
Его, согретые вином,
Добром родные поминали,
По нем скорбели и скучали,
И часто плакали по нем.

---

[16] Примечания: 16

Альфред Теннисон был удостоен звания Поэта-лауреата в 1850 г. после выхода в свет поэмы «In Memoriam» («Поминовение»).

Он к ним пришел.
И что же зрит?
Его любовь — жена другого,
Наследник-сын, хозяин новый
Земель, — и алчен, и сердит.
Пусть даже сына не расстроит
Отца любимого приход, —
Смятенье страшное взорвет
Столпы домашнего покоя.
Но ты, мой друг, вернись скорей!
Пусть время все переменило.
Душа тебе не изменила,
Как прежде, ты желанен ей.

«Но ты, мой друг, вернись скорей», — шептала миссис Папагай, и с нею эти слова шептали королева и бесчисленные вдовые мужчины и женщины, сливая голоса в едином вздохе безнадежной надежды. Того же, определенно, желала и она — Эмили Теннисон, Эмили Джесси, — та самая Любовь, которую молодой человек «вкусил умом одним», которой не коснулся: ведь она призывала его на сеансах, она жаждала видеть его и слышать, для нее он был жив, несмотря на то

что умер сорок два года тому назад — срок, в два раза длиннее, чем его земная жизнь. Общаться с ним напрямую не удавалось даже Софи Шики, и миссис Папагай, не понаслышке знакомая с самообманом и проделками воображения, не уставала восхищаться упрямым нежеланием миссис Джесси принимать на веру ложные послания озорных фантомов, двигать коленями стол и побуждать их с Софи приложить больше усилий.

— Он ушел слишком далеко, — сказала однажды Софи. — Ему нужно о многом подумать.

— Он и всегда много думал, — ответила миссис Джесси. — А за могильной чертой, говорят, мы остаемся прежними, лишь продолжаем путь, начатый при жизни.

III

Широкая и пухлая софа с высокой спинкой, на которой сидели Эмили Джесси и миссис Герншоу, была обтянута набивной материей. Рисунок набойки был выполнен Уильямом Моррисом; узор из черных ветвей, беспорядочно на первый взгляд сплетшихся, повторялся с геометрической периодичностью на таинственном, темно-зеленом фоне. Эмили, неисправимо, как и вся ее семья, романтичная, сразу же вспоминала густой лес, заросли падуба и вечнозеленые лесные прогалины. Ветви были усыпаны белыми звездочками цветов, а сквозь их гущу выглядывали малиновые и золотистые гранаты, синие и розовые хохлатые птички с кремовой, в крапинку грудкой и крестообразным клювом — фантастическая помесь волнистого амазонского попугайчика и английской дерябы. Эмили не гналась за роскошной обстановкой и не увлекалась домашним хозяйством: она полагала, что в жизни есть вещи, более достойные внимания, чем фаянс и воскресное жаркое; но софа доставляла ей удовольствие, доставлял удовольствие правильный узор, спле-

тенный мистером Моррисом из волшебных предметов; этот рисунок навевал воспоминания о детстве, о белом пасторском доме в Сомерсби.[17] Их было одиннадцать детей; они играли в Арабские ночи и в Камелот; ее рослые братья в масках и с рапирами фехтовали на лужайке, выкрикивая: «Получи-ка, гнусный изменник!» или с палками в руках, как Робин Гуд, обороняли от деревенских мальчишек мосток через ручей, впоследствии увековеченный в поэме. Все тогда было двойственно — было явью и было любимо; было здесь и сейчас, излучало волшебство и выдыхало слабый холодный аромат утраченного мира, королевского фруктового сада, сада Гарун аль Рашида. Окна готической столовой, которую вместе с кучером Хорлинсом собственноручно построил их отец, из которого энергия била ключом, представлялись живому воображению двояко: они могли служить рамами картин, на которых красовались одетые по последней моде дамы, готовые упорхнуть на свидание, а могли быть окнами волшебного замка, у которых Гиньевра и Лили Мейд с бьющимся сердцем ожидали своих любимых. Софа с рисунком мистера Морриса со-

[17] Примечания: 17

Деревня в графстве Линкольн, где родились и провели детство Теннисоны.

единяла оба мира: на ней можно было отдохнуть, и она заключала намек на Райский сад. Эмили это нравилось.

В их гостиной в Сомерсби тоже стояла софа, желтая софа. На ней сиживала со штопкой миссис Теннисон, а вокруг нее, словно выводок щенят, как волны на неспокойном море, резвились малыши. В тот единственный рождественский вечер на ней сидели Эмили и Артур, великолепный Артур с точеными чертами лица, знаток женских причуд и кокетства. Он, ее суженый, обнимал ее за плечи, его осторожные губы касались ее щеки, уха, смуглого лба, ее губ. Она до сих пор помнила, как он мелко-мелко дрожал, колени, казалось, его не слушались, помнила, как было страшно ей. Сейчас она уже не могла припомнить, чего боялась тогда: обрушившихся на нее чувств, того ли, что, возможно, не так отвечала на ласки, или того, что теряла голову. Его губы были сухими и теплыми. Позже он часто писал о той желтой софе, софа постоянно присутствовала в его письмах — таинственный материальный предмет, напоминающий о нематериальном — вперемежку с чосеровскими вздохами, доносившимися словно из рыцарского романа:

Увы, Эмилия моя.

Увы, в разлуке ты и я.

Увы, царица сердца.

Он опустил и начало, и конец этого плача:

Увы, кончина! Увы, Эмилия моя!

Увы, в разлуке ты и я!

Увы, царица сердца и жена!

И она до сих пор временами твердила про себя: «Увы, царица сердца и жена». Только его женой она не стала. Бедный Артур. Бедная Эмили, которой нет больше, девушка с длинными темными локонами и белой розой в волосах. Те осторожные объятия так растревожили ее тело и мысли, что она целых два дня пролежала в постели, хотя его краткий визит длился жалкие две недели. Из своего укрытия она писала ему записочки на очаровательно неумелом (его слова) итальянском языке, а он терпеливо исправлял ошибки и возвращал листок ей, пометив его там, где запечатлел поцелуй. «Poverina, stai male. Assicurati ch'io competisco da cuore al soffrir tuo,[18] благородный рыцарь Артур».

Миссис Герншоу не обращала внимания на узо-

---

[18] Примечания: 18

Бедняжка, тебе плохо. Поверь мне, я сочувствую твоим страданиям от всего сердца (ит.).

ры софы. Она рассказывала Эмили и Софи Шики, которая устроилась рядом на скамеечке для ног, о своем горе.

— Она была такой крепенькой, миссис Джесси, так бодро размахивала ручками и сучила ножками, так покойно смотрела на меня, в ее глазках светилась жизнь. Муж говорит, что нельзя так привязываться к малышкам, потому что им совсем недолго быть с нами… но как не привязаться, это ведь так естественно? Они растут у меня под сердцем, а я со страхом и трепетом чувствую, как они шевелятся.

— Они стали ангелами, миссис Герншоу.

— Иногда я в это верю. Но иногда воображаю разные ужасы.

— Расскажите, о чем вы думаете постоянно, вам станет легче, — сказала Эмили Джесси. — Мы, те, кто ранен в самое сердце, переживаем и за других, нам предназначено нести и чужое горе. Мы плачем вместо них. В этом нет ничего постыдного.

— Я рождаю смерть, — мысль эта постоянно тяготила миссис Герншоу. Она хотела еще добавить: «Я сама себе внушаю ужас», но передумала. Ее неотступно преследовало воспоминание о сведенных судорогой маленьких ручках, о жесткой,

холодной, мертвой постели.

— Мы одинаковы, живые ли, мертвые ли — безразлично. Как грецкие орехи, — сказала Софи Шики.

Она словно воочию увидела маленькие, скрюченные тельца в маленьких ящиках, похожие на мертвые белые дольки орехов в коричневой кожуре, увидела слепое острие, похожее на головку червя, пробивающееся к свету и веселой листве. Она часто «видела» послания. Она не знала, были то ее мысли или мысли других, или они приходили к ней Извне. Возможно, и другие получали послания.

К разговору присоединились капитан Джесси и мистер Хок.

— Грецкие орехи? — начал капитан Джесси. — Я большой любитель грецких орехов. На десерт, с портвейном они отменно вкусны. И зеленые, молочные орехи тоже хороши. Грецкий орех похож на человеческий мозг. Бабушка рассказывала мне, что грецкие орехи используются в деревенских снадобьях, но это скорее чародейство, чем медицина. А что бы сказал о таком сравнении Эмануэль Сведенборг, мистер Хок? Я имею в виду энцефаломорфность грецкого ореха?

— Мне не приходилось встречать в его трудах

рассуждений о грецких орехах, капитан Джесси, хотя его наследие столь обширно,[19] что где-то, не исключено, может таиться указание и об этом. Кстати, мне вспоминается наша ведунья, госпожа Юлиана Нориджская:[20] во время одного откровения она увидела на своей ладони все сущее в виде ореха и услышала слова Бога: «Все будет хорошо. Ты сама увидишь, что все будет хорошо». Я думаю, что она увидела в руке мысль одного из Ангелов — ангельская мысль, попав в мир духов и людей, — приняла форму ореха. В этом смысле Юлиану можно считать предтечей нашего духовного Колумба.

Тот рассказывает, что в мире духов ему довелось увидеть в руке сэра Ганса Слоуна[21] прекрасную птицу. Эта птица нисколько не отличалась от

---

[19] Примечания: 19

Только с 1749 по 1771 г. Сведенборг написал 30 томов богословских работ.

[20] Примечания: 20

Госпожа, или мать Юлиана Нориджская (1342–1416) — английская монахиня-мистик. В литературное наследие вошла ее работа «Откровение о Божественной любви», замечательный по глубине богословской мысли образец среднеанглийской клерикальной литературы. Неофициальный День св. Юлианы отмечается 13 мая — в этот день в 1373 г. Юлиане было видение Богородицы и Страстей Господних, якобы исцелившее ее от тяжелой болезни.

[21] Примечания: 21

Ганс Слоун (1660–1753) — английский натуралист и коллекционер. Ему принадлежало богатое собрание книг и старинных рукописей,

коллекции растений и раритетов. По смерти Слоуна его библиотека и коллекции послужили основанием для Британского музея (открыт в 1759 г.).

обыкновенной земной птахи, однако Сведенборгу было открыто, что это не птица, а ничто иное, как любовь Ангела; и когда любовь иссякла, исчезла и птица. Сам Ангел не мог видеть птицу, в облике которой его чувство проникло в мир духов, ибо Ангелы видят все сущее в высочайшей форме, то есть в Богочеловеке. Сведенборг говорит, что Ангелы высочайшего ранга представляются тем, кто приближается к ним снизу, человеческими младенцами (однако себе они видятся иначе), ибо их нежные чувства рождаются, когда соединяются в супружеской любви любовь к Добру, то есть Ангел-отец, и любовь к Истине, то есть Ангел-мать.

Пребывая в мире духов, Сведенборг видел птиц, и ему было откровение, что в форме птиц в Великом человеке предстают рациональные идеи, так как голова соответствует небу и воздуху. Ему даже довелось ощутить падение Ангелов, составивших себе ложное представление о разуме и инфлюксе:[22] его жилы и кости потрясла жестокая дрожь, и он увидел трех птиц: одну черную и уродливую и двух светлых и прекрасных. Эти реальные птицы были мыслями Ангелов — в

[22] Примечания: 22

В теологии Сведенборга инфлюкс — божественное влияние, пребывающее в человеке и управляющее его поступками.

такой форме явились его чувствам прекрасные рассуждения и отвратительное заблуждение. Ибо миры строятся на соответствиях, и всякая сугубо материальная вещь находит свое соответствие в сугубо Божественном, то есть в Богочеловеке.

— Очень занятно, очень занятно, — с нетерпением заметил капитан Джесси. Сам большой говорун, он не мог молча слушать, как мистер Хок разматывает перед ними бессчетные нити, связывающие Богочеловека с земными, перстными людьми. Начав говорить, мистер Хок уже не способен был остановиться и продолжал толковать им «Аркану», «Принципы»[23] и «Clavis Hierogliphica Arcanorum et Spiritualium», тайны инфлюкса и духовного очищения, супружеской Любви и загробной Жизни. Чтобы возможно полнее представить слушателям свои религиозные убеждения, он жонглировал богословскими понятиями, подбрасывая их одновременно в воздух, как шары, и они сливались в стремительном мелькании в сплошную дугу, которая на миг, во время пространного отступления касательно птиц, представилась Софи Шики стайкой порха-

[23] Примечания: 23

«Божественная Аркана» (1749–1756) — богословский труд Сведенборга, «Принципы естественных вещей» (1734) — его натурфилософская работа.

ющих зобастых голубей и горлиц.

— В том мире, то есть в мире духовном, — продолжал мистер Хок, — свет исходит от духовного солнца, и обитатели того мира не могут видеть соответствующего ему материального солнца из нашего мертвого мира. Наше солнце — непроницаемая тьма в их глазах. Тот мир населен множеством духов, которым отвратительно все материальное, например духами с планеты Меркурий — в Великом человеке они соответствуют памяти о сущем, отвлеченной от этого сущего. Сведенборг посетил их и с их согласия показал им земные луга, земли под паром, сады, леса и реки. Но духи выказали отвращение, отвращение к материальности всего этого. Они любят отвлеченное знание, поэтому они заполонили луга змеями и омрачили их, а реки сделали черными.

Сведенборг добился большего успеха, показав им красивый сад, полный огней и светильников, — и то и другое было понятно духам, так как свет олицетворяет истину. Они приняли и ягнят, поскольку агнец олицетворяет невинность.

— Они похожи на проповедников, — заметила миссис Джесси, — эти духи с планеты Меркурий. Мыслят одними отвлеченностями.

— Они похожи на дикарей, — подхватил ее

муж. — Люди, которые ходили в плавание с капитаном Куком, рассказывали, что новозеландские дикари не сумели увидеть их корабль, стоявший на якоре в гавани. Они как ни в чем не бывало занимались своими делами, будто никакого корабля и не было: рыбачили, купались, разводили костры и пекли на них рыбу — в общем, жили повседневными заботами. Но как только шлюпки были спущены и взяли курс на берег, пришельцев тут же заметили, и среди дикарей сделалось большое волнение: они толпой сбежались к воде и принялись размахивать руками, вопить и плясать. Но корабль они так и не увидели. Можно было бы подумать, что по аналогии они приняли корабль за большую белокрылую птицу или за дух, просто не понимая, что они видят, но не тут-то было: они вообще не видели его, не способны были видеть. По-моему, это говорит в пользу теории, утверждающей, что мир духов смыкается с нашим и пронизывает его, как ходы долгоносиков пронизывают хлеб, и мы не видим его только потому, что еще не развили в себе необходимого способа мышления, понимаете? Мы подобны этим вашим меркурийцам или меркурианам, которым отвратительны земные поля и все прочее, мы как те несчастные ангелы, для

которых свет нашего солнца — кромешная тьма.

В это время Аарон, который устроился на подлокотнике софы, взмахнул черными крыльями, почти сведя их над головой, и вновь уселся, шурша перьями и резко подергивая головой. Потом бочком подобрался к мистеру Хоку, и тот нервно отодвинулся. Как большинство внушающих страх тварей, Аарон, казалось, возбуждался, чуя чужое волнение. Он открыл сине-черный клюв, каркнул и склонил голову набок, наблюдая за произведенным эффектом. Его веки были, как и клюв, синеватыми и походили на веки пресмыкающегося. Миссис Джесси сердито дернула за поводок. Однажды мистер Хок спросил у нее, почему ворона зовут Аарон (сам он полагал, что птицу назвали в честь брата Моисея, первосвященника, которому Бог заповедал носить ризу с золотыми позвонками и яблоками). Но оказалось, что ему дали имя мавра из «Тита Андроника»,[24] пьесы, с которой мистер Хок, не обладавший теннисоновской эрудицией, совсем не был знаком.

— Это был черный как смоль малый, который гордился своей чернотой, мистер Хок, — пояснила вкратце миссис Джесси. Мистер Хок заметил,

---

[24] Примечания: 24
Пьеса Уильяма Шекспира.

что, по поверьям, вороны предвещают дурное. Если следовать толкованию, которое дал Слову Сведенборг, Ноев ворон олицетворяет ум, блуждающий над океаном ошибок.

— А филины и вороны олицетворяют наши тяжкие и неискоренимые заблуждения, — добавил он, поглядывая на Аарона, — потому что филин живет во тьме ночной, а ворон черен. Исайя говорит: «...и филин и ворон поселятся в ней».[25]

— Вороны и совы — тоже Божьи твари, — запальчиво возразила миссис Джесси. — Я не верю, мистер Хок, что сова, эта красивая, мягкая и наивная птица, может нести в себе зло. Вспомните сипух, которые отзывались вордсвортовскому Мальчику,[26] когда тот ухал по-совиному. В детстве и мой брат Альфред умел подражать всякой птице и дружил с целым совиным семейством — по его зову совы слетались ему на руки за кормом, а одна даже поселилась у нас под застрехой и прогуливалась вместе с братом, усевшись ему на голову.

---

[25] Примечания: 25

Ис., 34, 11.

[26] Примечания: 26

Уильям Вордсворт (1770–1850), английский поэт-романтик, глава «Озерной школы».

Черты лица миссис Джесси, как это обыкновенно бывало, смягчились при воспоминании о Сомерсби. Она взяла кожаный мешочек и поднесла ворону кусочек требухи. Дернув клювом, он схватил его, подбросил, перевернул и проглотил. Эти кусочки мяса зачаровывали миссис Папагай. Каждый раз после обеда миссис Джесси незаметно прибирала в свой мешочек остатки жаркого со стола. Да, было в миссис Джесси что-то отталкивающее, как было в ней, разумеется, и нечто чистое и трагическое. Рядом с немигающей птицей и острозубой, головастой уродливой серой собачонкой она словно беззащитная перед непогодой каменная голова меж двух горгулий на церковной крыше, — вообразила на миг миссис Папагай, — проходят столетия, ее сечет ветер и мочит дождь, но голова смотрит так же неотрывно, что-то терпеливо высматривая в дали.

Мистер Хок предложил, если все готовы, составить круг. В середину комнаты перенесли круглый стол, накрытый бархатной скатертью с бахромой, а капитан Джесси расставил стулья, разговаривая с ними, как с живыми: «Ну же, двигайся, не будь таким неуклюжим, вот здесь и стой». Миссис Джесси принесла достаточное количество бумаги, перьев и карандашей, большой

кувшин с водой и стаканы для всех. Они уселись в полутьме, освещаемой лишь дрожащими языками огня в камине. Миссис Папагай объяснила, что именно в такой обстановке проводят сеансы прогрессивные спириты. Духи боятся яркого света, точнее, он их стесняет, потому что его лучи имеют неподходящую структуру, — такое объяснение устами американского медиума Коры Таппан дал дух одного ученого, но идеально подходит для них успокаивающий фиолетовый свет. Эмили Джесси любила свет камина. И верила искренне, что дух переживает тело и мертвые желают общаться с живыми. Как и ее брат Альфред, как тысячи мятущихся верующих, тревоги которых он нередко выражал в своих стихах, она остро желала убедиться, что душа бессмертна и за гробом сохраняет индивидуальность. Альфред же с годами все с большей горячностью высказывался по этому поводу. Если жизни за гробом нет, — кричал он друзьям, — если его сумеют в этом убедить, он бросится в Сену или Темзу, засунет голову в духовой шкаф, примет яд или выстрелит себе в висок из пистолета. Она часто вспоминала его строки:

Иные верят, что, за жизнь

Вобрав в себя кусочки Я,
Становится по смерти всяк
Частицей мировой Души.

То вера смутная и злая.
Я верю, дух пребудет вечный
В обличье вечном, и при встрече
Я друга без труда узнаю.

Ей нравился стих. Нравилась строчка «То вера смутная и злая». Она любила и огонь в очаге, вернее, детская половина ее души, которая ждала чудес, любила. В маленьком домике пастора их было одиннадцать детей; они играли у очага в деревенские игры, пугали друг друга жуткими байками, пересказывали свои волшебные видения. Старик отец сходил с ума: его изнуряли беспричинные припадки ярости, мучили несбывшиеся надежды и разочарование. К тому же, если говорить откровенно, его убивал алкоголь. Половина детей постоянно были в подавленном состоянии, а Эдвард, о котором старались не вспоминать вслух, был на постоянном содержании в заведении для душевнобольных в Йорке. Септимус все время лежал у камина в депрессии, а Чарлз пристрастился к опиуму. И все же они

были счастливы тогда, она хорошо помнила, что тогда они были счастливы. Они радовались темноте и с восторгом пересказывали друг другу загадочные происшествия. Так, самый младший, Горацио, направляясь в сумерках домой мимо Сказочного леса, что между Харрингтоном и Баг Эндерби, увидел, как мелькает за деревьями жуткая голова, видно отрубленная, и таращится на него из-за изгороди. Не прошло и недели после смерти отца, как Альфред, в надежде, как сказал он, увидеть отцов дух, торжественно заявил, что проведет ночь в его постели. Без отцовских воплей и буйства в доме стало так удивительно тихо и покойно, что девочки стали упрашивать брата не беспокоить смятенный дух. Но Альфред во что бы то ни стало хотел осуществить свой нечестивый замысел, внушавший ему благоговение и ужас. Он закрылся в душной комнатушке и погасил свечу. А наутро рассказал им, что ночь прошла спокойно, он много думал об отце, о его недовольстве жизнью и страдании, о его мощном уме, о припадках болезненной рассудительности и, вглядываясь в темноту, все ждал, что сейчас высокая и грозная фигура отца прошествует мимо него. «Или схватит тебя, невежу, за глотку», — добавил Горацио. «Да ни за что он к тебе

не явится, — сказала Сесилия. — Ты такой рассеянный, такой тупой». — «Тем, у кого богатое воображение, духи не являются», — согласился Альфред и начал рассказывать им, как один крестьянин видел призрак убитого фермера, из груди которого торчали вилы. Артур Галлам рассказывал, как в Кембридже Альфред читал свою единственную прозу «Духи» «апостолам», молодым ученым, которые стремились совершенно изменить мир, сделать жизнь справедливой и прекрасной.[27] «Стоило на него посмотреть, милая Нем: он был ужасно красив и страшно стеснялся и тушевался. Он оперся на камин, долго смотрел в рукопись, а потом начал читать зловещим голосом, словно сиднеевский рассказчик,[28] и мрачным своим видом едва не напугал нас всех до смерти».

Как-то раз, уже в Сомерсби, он прочитал первую

---

[27] Примечания: 27

«Апостолы» — основанное в 1820 г. в Кембридже закрытое студенческое общество. В него входила университетская интеллектуальная элита — будущие философы, историки и поэты. Поступив в Кембридж в 1827 г., Теннисон присоединился к «апостолам». Члены общества были увлечены идеалами справедливости и общественного прогресса: так, в 1830 г. они приняли участие в испанской революции против самовластия Фердинанда VII.

[28] Примечания: 28

Филип Сидни (1554–1586) — поэт и теоретик поэтического искусства эпохи Возрождения. Автор пасторального романа «Аркадия».

часть этого сочинения братьям и сестрам:

> «Имеющий власть говорить о духовном мире говорит о высоком простыми словами. Он рассказывает о жизни, и о смерти, и о том, что после смерти. Он приподнимает вуаль, но некто за нею закутан в саван, еще более непроницаемый. Он приподнимает облако, но затемняет горизонт. Золотым ключом он отпирает решетчатые врата склепа, распахивает их — и на свет из глубинного мрака выходят колоссы прошлого, *majores humano*; кто-то — как жил, бледный лицом, с легкой улыбкой на устах; иной — как умер, все еще окоченевший от внезапного холода смерти; третий — как был погребен, с закрытыми веками, завернутый в погребальные пелены.
>
> Слушатели жмутся друг к другу; они боятся вздохнуть, пугаются стука своих сердец. Одинокий, как горный поток в тихую ночь, голос рассказчика заполняет мертвую тишину…»

Артур любил, когда они собирались вместе и начинали рассказывать истории. Дома у него,

говорил он, все так правильно и строго. Из всей детворы, почти столь же многочисленной, как и Теннисоны, до зрелого возраста дожили только он сам, один брат и сестры. За ними неусыпно присматривали, их малейшее недомогание всех пугало, ими дорожили, их оберегали от опасностей, их воспитывали в добродетели, но усвоенные уроки спрашивали строго. Им не позволяли носиться по полям, кувыркаться в кустах изгороди, стрелять из лука, ездить верхом сломя голову.

— Как я люблю вас, — говорил он Теннисонам, и его худощавое лицо пылало от счастья. Он знал, что они тоже любят его и испытывают радость в общении с ним, — он был великолепен, чист и добродетелен, его ждало великое будущее министра или философа, поэта или принца. Матильда называла его «король Артур» и увенчивала лавром и зимним аконитом. Он был снисходителен к Матильде, хотя та была непредсказуема, грубовата и резковата: в детстве ее стукнули по голове, и она немного повредилась. В отличие от Альфреда, Матильда видела призраков. Однажды они с Мэри увидели, как высокая белая фигура, с головы до ног закутанная в саван, прошла по дорожке мимо их дома и исчезла за живой

изгородью там, где не было прохода. От испуга с Матильдой случилась истерика; она рыдала, скулила, как собачка, и в смертельном ужасе каталась по постели. А несколькими днями позже Матильда пошла в Спилсби и принесла с почты то страшное письмо:

«Ваш друг и мой любимый племянник, Артур Галлам, оставил нас, — Богу было угодно восхитить его от земной жизни в тот лучший мир, для которого он был создан…

По возвращении в Вену из Буды он умер от апоплексического удара. Его останки прибудут домой из Триесты».

IV

Мистер Хок рассадил всех. Сам он, взяв Библию и положив перед собой «Небо и Ад» Сведенборга, сел между Софи Шики и Лилиас Папагай. Рядом с ней сели миссис Джесси и дальше — миссис Герншоу. Капитан Джесси сел между миссис Герншоу и Софи Шики. Так обычно рассаживаются за обеденным столом, когда женщин больше, чем мужчин. В начале сеанса по обыкновению мистер Хок читал им из Сведенборга и Библии. Эмили Джесси недоумевала, с какой стати мистер Хок взял на себя обязанности председателя, ведь он даже не медиум. Как-то она рассказала ему про их удачные, пусть и жутковатые, осторожные спиритические опыты и обрадовалась, когда он попросил позволения присутствовать на них.

Как ее старший брат Фредерик и сестра Мэри, она была ревностным членом сведенборгианской Новоиерусалимской Церкви и убежденным спиритом. Хотя спириты признавали Сведенборга, совершившего столь знаменательное путешествие по миру духов, отцом новой веры, все же ортодоксальные сведенборгиане смотрели на них

с недоверием и опаской: спиритизм набирал силу и угрожал лишить их паствы. Новоиерусалимская Церковь не наделила мистера Хока высоким правом рукополагать, он был странствующим проповедником без права возглавлять общину, но с правом просвещать — его должность, без устали твердил он всем, Сведенборг называл «жрец», «каноник», а также «фламен».[29]

Мистер Хок начал читать:

> «Земная Церковь пред Господом есть один Человек. Церковь разделяется на общины, и каждая община тоже Человек, и все, кто внутри этого Человека, пребывают на Небесах. Каждый член Церкви есть ангел небесный, ибо становится ангелом по смерти. Скажу более, Земная Церковь и ее ангелы составляют не только внутренние части Великого Человека, но и наружные его члены, которые назову хрящами и костьми. Потому Церковь и Человек соответствуют, что земные люди наделены телом, и дух человеческий

[29] Примечания: 29

«Сжигающий священные приношения» (лат. букв.) — священник в Древнем Риме, служивший только одному богу (чаще всего Юпитеру, Марсу или Квирину) и ежедневно приносящий ему жертвы.

облечен в естественное. Так сопрягаются Небо и Церковь, Церковь и Небо».

— Сегодня я прочитаю вам из Откровения, — продолжал он. — Глава двадцатая, стихи с одиннадцатого по пятнадцатый:

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».

Внимая словам Откровения, миссис Папагай, как и всегда, дрожала от восторга. Она любила их

звучную внушительность, любила эти зловещие цвета: алый, золотой, белый и черный цвет Преисподней. Она с самого детства была влюблена в эти неземные картины и образы: вот ангелы навеки свивают небо, как свиток книжный, и золотые смоквы звезд падают в море огненным дождем, здесь драконы и мечи, кровь и мед, армии саранчи и легионы ангелов непорочной белизны, с пламенными очами, и они бросают в стеклянное море шапки золотые. Она беспрестанно задавалась вопросом: почему все так любят неистового Иоанна и его ужасное Откровение, и, как хороший психолог, находила этому не одну причину. Люди любят пугаться — только посмотрите, с каким удовольствием они читают самые жуткие рассказы мистера По про все эти колодцы и маятники, про заживо погребенных. Но дело не только в этом, размышляла она, люди хотят верить, что над ними будет Страшный суд: жизнь стала бы им в тягость, знай они наверное, что она лишена значимости в Очах Кого-то свыше, кто наблюдает за нами и сообщает нашей жизни ценность. Ибо, не будь смерти и Страшного суда, не будь неба и ада, чем бы отличался человек от растений, от бабочки или мясной мухи? Если бы смысл жизни заключался только в том, чтобы

сидеть за чаем, а затем ожидать времени сна, зачем дано мне то многое, о чем я гадаю, на что уповаю, чего страшусь; то, что пребывает вне моей полной, стесненной корсетом груди; то, что не имеет отношения к обыденным кухонным хлопотам. К чему эти эфирные исполины и жена, облеченная в солнце, и ангел, на нем стоящий?[30] Миссис Папагай не удавалось вовремя прервать свои размышления. Следовало же, легко взявшись за руки, составить круг, слиться воедино и сидеть в тишине, открыв ожидающий, расслабленный мозг для духов, так, чтобы они могли говорить через него. Первое время они задавали духу вопрос и ожидали ответного стука — один раз значило «да», два раза — «нет», и сейчас еще им приходилось вздрагивать, когда из-под стола раздавалась внезапно дробь сильных ударов или столешница под их пальцами начинала ходить ходуном. Но теперь все чаще они дожидались, пока дух сам заявит о своем присутствии, после чего приступали к бессознательному письму. Этой способностью обладал каждый, и все, за исключением капитана, воспринимали послания, сжатые, а иногда пространные, и вчитывались

---

[30] Примечания: 30
Отк., 12, 1; 19, 17.

в них, пытаясь истолковать. А потом, если им сопутствовала удача, устами Софи Шики или ее собственными (что случалось реже) с ними говорили пришельцы. Иногда Софи их видела и описывала остальным. Однажды ей явились покойные племянники миссис Джесси, дети ее сестры Сесилии — Эдмунд, Эмили и Люси (первый умер в тринадцать лет, вторая — в девятнадцать, а последняя только прошлым летом двадцати одного года отроду). «Духи были вялы и печальны, — вспоминала миссис Папагай, — хотя, по их словам, в Солнечной стране среди цветов и фруктовых садов жили в счастье и трудах праведных». Бракосочетание Сесилии прославлялось в эпилоге «In memoriam» как триумф любви над смертью. Миссис Папагай ясно представляла, как туфельки невесты ступают по старому церковному кладбищу, где под плитами покоятся мертвые. «Мы живем в юдоли слез, — размышляла миссис Папагай, — и нам необходимо знать, что где-то есть Летняя страна. Будущее дитя, на которое уповал Лауреат, родилось и умерло, как умер и А.Г.Г.» Последнего, несмотря на все ее старания и даже старания Софи, не удавалось призвать на сеанс.

Огонь в камине горел, на стены и потолок ложились тени. Белая грива капитана Джесси на-

поминала очертаниями царскую корону, а борода была как у Бога; гладкая, черная голова Аарона отбрасывала дымчатую, дрожащую тень. Огонь, судорожно вспыхивая, неровно освещал их руки. У миссис Джесси кисти рук были длинные и смуглые, как у цыганки, а на пальцах мерцали красным кольца. У миссис Герншоу руки были мягкие, белые, их унизывали траурные кольца с крохотными ларчиками, в которых хранились локоны ее покойных детей. Руки мистера Хока были землистого цвета и поросли редкими рыжими волосками. У него были тщательно ухоженные ногти, и он носил перстенек — печатку с гелиотропом. Во время сеанса он постоянно похлопывал и пожимал руки соседок, как бы ободряя их и успокаивая. Он часто касался миссис Папагай коленями, несомненно, он касался и Софи Шики. Она интуитивно догадывалась, что в этом смысле мистер Хок легко возбудим, что он любит женщин, часто и подолгу думает о них. Она догадывалась, или ей так казалось, что он с удовольствием думает о прохладном теле Софи, мысленно расшнуровывает ее гладкий, простой корсаж и гладит ее белые ноги, спрятанные под серым платьем. Она знала также, хотя была в этом меньше уверена, что Софи равнодушна к

нему. «Вот и сейчас, — думала она, — бледная рука Софи неподвижно и бесстрастно лежит в его ладони, даже не увлажняясь от этого прикосновения. Казалось, это совершенно не интересует ее. Возможно, ее успех в духовных предприятиях отчасти объясняется именно ее несокрушимым равнодушием к плотскому. Она чистый и прохладный сосуд, воплощение мечтательного ожидания».

Миссис Папагай было известно, что мистер Хок рассматривает и ее стати как источник земного блаженства. Она ловила его невольно оценивающий взгляд на своей груди и талии, а в напряженные моменты сеанса его теплые пальцы потирали ей ладонь. Несколько раз она перехватывала его взгляд, когда он разглядывал ее пухлые губы и девичьи нежные локоны. У нее не было намерения поощрять его к большему, но и решительной отповеди она не давала ему, когда он чересчур долго глазел на нее или прикасался к ней. Она взвешивала «за» и «против». Она считала, что побудить мистера Хока просить руки способна любая женщина при условии, что она достаточно пышногруда и чувствует к нему расположение. Но желает ли она сделаться миссис Хок? Сказать откровенно, она желала

Артуро и повторения «брачных восторгов», как выражается Сведенборг. Она желала засыпать в мужских объятиях, в аромате супружеского ложа. Артуро учил ее многому, а она была способной ученицей. Он набрался мужества и рассказал жене, распахнувшей от удивления глаза, о том, что повидал в разных портовых городах, о женщинах, с которыми нескучно проводил время. Рассказал откровенно, а увидев, что жена не оскорбилась, но, напротив, любопытствует о подробностях, рассказал и больше. Да, она могла бы поучить кое-чему мистера Хока или еще кого — то-то бы он подивился. Только способна ли она на это после Артуро? Однажды ей приснился страшный сон: она обнимает Артуро и вдруг оказывается в жадных объятиях огромного морского змея, угря или дракона, выглядевшего так, словно он то ли поглотил, то ли исторг из себя Артуровы члены. Однако те нечастые сны, в которых Артуро как бы воскресал, по пробуждении доставляли ей жуткие мучения. «Но ты, мой друг, вернись скорей», — позвала про себя покойного мужа миссис Папагай. Мистер Хок негнущимся большим пальцем поглаживал ее палец. Она попыталась сосредоточиться на цели сеанса и, взглянув на большое и мягкое лицо миссис Герн-

шоу, напрягшееся в ожидании, пожурила себя за рассеянность.

В отличие от миссис Папагай, Софи Шики ничего не стоило во время сеанса выбросить из головы лишние мысли. Счастливые и немного тревожные состояния души были ей знакомы еще до того, как миссис Папагай уговорила ее заняться спиритизмом профессионально. Ей не стоило ни малейших усилий соскользнуть в другое состояние сознания и выскользнуть из него — она проделывала это с такой же легкостью, с какой облачалась и сбрасывала платье, с какой погружалась в теплую ванну и выходила из нее, с какой окуналась в морозный зимний воздух. Она очень любила один отрывок из Второго послания к коринфянам, который иногда в начале сеанса читал мистер Хок (он помогал ему размышлять о переживаниях Сведенборга), — это был рассказ Павла из двенадцатой главы:

«Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, — в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает, — восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, — *только* не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает, — что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.

Таким *человеком* могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими».

Ей нравилась двусмысленность этой повторяющейся фразы: «в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает». Слова эти описывали состояние, которое она испытывала сама, а их монотонное журчание, ритм способны были, как и стихи, приводить ее именно в такое состояние. Надо только твердить это про себя — сначала слова становятся необычными, словно обезумели и ощетинились блестящими стеклянными волосками, а потом — совсем бессмысленными и прозрачными, как чистые водяные капли. И вот ты есть — и тебя нет. Софи Шики сидела будто незаметная монахиня, склонив голову; она что-то видела. Что это было? Софи не ощущала большой разницы между существами и предметами из сновидений и теми, которые мельком видишь в окно или над морем за дамбой; существа и предметы из стихов и Библии или те, что являлись в наш мир из ниоткуда, она также могла описывать другим людям, видеть их, обонять, слышать, даже осязать и пробовать на вкус — одни были сладкими, другие отдавали дымом. Когда ночью она лежала в постели в ожидании сна, ей представлялись разнообразнейшие вещи; иногда они

маячили в сумраке ночи, иногда пришельцы приносили с собой свой мир — то были разные миры, знакомые и чуждые: пустынные дюны, равнина, поросшая вереском, или сумрачное нутро шкафа, жар костра или отягченный плодами сад. Она видела стаи птиц и облака бабочек, видела верблюдов и лам, черных нагих человечков и спеленатых, с подвязанной челюстью, покойников, прямых как жердь, светящихся. Ей являлись какие-то огненные ящерицы и стада золотых шаров, больших и бесконечно малых, представлялись прозрачные лилии и ходячие пирамиды из стекла. И другие, не поддающиеся описанию существа забредали в ее сознание: проходил, открываясь и складываясь, пурпурный экран камина с бахромчатыми руками, испуская флюиды удовольствия, вспыхивал и взрывался перед глазами сгусток боли, похожий на оранжевого ежа. Многие из своих видений она даже не пыталась описать другим. Они составляли ее личный мир. Но некоторые пришельцы имели обличья и судьбы, их можно было позвать, и они приходили. Постепенно, с трудом, она осознала, что и мертвым, и живым требуется ее посредничество, — оказалось, что живые не видят и не слышат мертвых.

Сегодня, сосредоточившись, она ощутила, что комната наполнена движением. По обыкновению она медленно обвела взглядом круг собравшихся, воспринимая их отстраненно, проникаясь их заботами и мыслями, а потом отвлеклась и прислушалась. Часто за спинами живых толпились существа из другого мира — они хотели попасть в круг, ждали, что их позовут и выслушают; казалось, вот-вот кто-то из них не выдержит, воздух в комнате начнет колебаться, а он захихикает или завоет. Она бесстрастно посмотрела на свою руку — мистер Хок поглаживал ложбинку между ее пальцами — и заставила ее мертвенно похолодеть, рука сделалась холодной как лед, потому что вся кровь отхлынула к сердцу. Она посмотрела на мистера Хока и, как обычно, увидела вместо него багрового, точно обожженная глина или освежеванная туша, зверя, обличьем похожего на Мопса, на фарфорового китайского льва, на красную атласную подушечку, утыканную стеклянноголовыми булавками, — такого же цвета был блестящий кончик известной части тела мистера Поупа, когда однажды, расхаживая во сне, он поднялся к ней в мансарду, зажав эту прямую как палка часть тела в кулаке и сипло постанывая; тогда она сделалась холодной как

мрамор, и он, коснувшись ее горячей ладонью, отпрянул, обожженный ледяным холодом.

Миссис Папагай виделась ей такой, какая есть, ибо она любила ее такой, какой она была, и все же, словно царицу Южных морей, ее голову венчал плюмаж из павлиньих перьев, и перьев лирохвоста, и лилейных страусиных перьев. Миссис Герншоу часто казалась влажной с головы до пят; влагой мерцали жирные складки ее тела, и она напоминала то ли русалку, поднявшуюся из морских глубин, то ли морского льва, который сидит на камне и, задрав морду, тоскливо лает. А иногда миссис Герншоу представлялась ей в виде гигантской вазы или огромного бутона, внутри нее шевелились фигурки, похожие на консервированные персики. А по другую руку миссис Герншоу сидел капитан Джесси. Как-то раз, посмотрев на него, Софи увидела огромное белое хохлатое существо с большими мощными крыльями и острым клювом. Существо томилось в его теле, отгороженное от мира, словно прутьями решетки, ребрами капитана, и выглядывало наружу золотистыми нечеловеческими глазами. Позже, определенно это было уже позже, капитан Джесси показал ей пару своих гравюр, на которых изображался огромный белый альбатрос, — ка-

питану доводилось видеть альбатросов во время полярных экспедиций. Он много рассказывал ей о снежных пустынях, о голубоглазых ездовых собаках, которых съедали, как только они выбивались из сил. Рассказывал об изумрудных ледяных расселинах, в которых бесследно пропадали люди.

— Поэт прав, — говорил ей капитан, — лед зеленый, как изумруд, это, моя милая, я говорю вам как очевидец с научной достоверностью.

Что до миссис Джесси, то порой она виделась Софи юной, красивой девушкой с белой розой в черных, точно вороново крыло, волосах, — такой она нравилась ему. Теперь Софи знала, что, бесстрастно вглядевшись, может увидеть в любой женщине призрак юной девы, каковой она была много лет тому назад, и старой карги, в которую суждено ей превратиться. Так что миссис Джесси виделась ей и ведьмой, закутанной в черные, как ночь, тряпки и лохмотья, старухой с заострившимися носом и подбородком, с беззубой гузкой рта. Девушка ждала и надеялась — старуха сидела, сложив морщинистые руки рядом с когтистыми вороньими лапами или поглаживая Мопса по дряблой, складчатой холке.

— Давайте споем, — предложила миссис Па-

пагай.

Мистер Хок закончил читать Слово, и теперь ей предстояло направлять присутствующих, настроить их для общения с миром духов. Больше всего она любила гимн «Свят, свят, свят», сочинение епископа Гебера, который любили также Лауреат и Софи Шики; прозрачная радость, словно тысяча стеклянных копий, пронзала Софи, когда пели:

Свят, свят, свят. Святые славят Твою милость,

Скинули в стеклянное море шапки золотые.

Херувим и Серафим пред Тобой склонились,

Бывший, Сущий и Грядущий. Свято Твое имя.

Но миссис Герншоу особенно любила другой гимн, «Приют для младенцев», и еще:

Вкруг Божьего престола в ряд

Святые Ангелы стоят;

Короны златые на них;

Господню Славу зрят они

И сладкозвучный лирный звон

Возносят Богу всех племен.

Поэтому они спели оба гимна, ритмично подымая сцепленные руки и чувствуя, как через обнявшиеся пальцы пробегает теплая струя, электрический пульс, связывающий их с миром мертвых.

Огонь в камине приугас. Сгустилась темнота. Ясным, холодным голосом Софи Шики произнесла:

— Духи здесь, я чувствую их и чувствую запах роз. Кто-то еще ощущает сильный аромат роз?

Миссис Папагай отвечала, что ей кажется, и она ощущает запах. Эмили Джесси втянула носом воздух, и ей тоже показалось, будто слабый розовый аромат пробивается сквозь печеночный дух дыхания Аарона и невыветрившиеся кишечные газы Мопса, по поводу которых благовоспитанные гости никогда не делали замечаний. Мистер Хок все принюхивался и сопел: уф, уф, уф, — так что Софи вежливо попросила его сидеть тихо: если он станет напрягаться, то ничего не увидит и не почувствует, поэтому нужно расслабиться и сосредоточиться.

Вдруг миссис Герншоу воскликнула:

— Я чувствую запах, я его чувствую; он повеял на меня, словно аромат летнего сада. Миссис

Папагай проговорила:

— Что-то говорит мне, что нам надо представить себе розовый сад с изгородью и арками из роз, мягкие лужайки и огромные клумбы с розами всех цветов: красными, белыми, кремовыми и всех оттенков розового цвета, и золотисто-желтыми, и тех цветов, которых нет в природе, — огненные розы и розы с небесно-голубой сердцевиной и с сердцевиной как черный искристый бархат.

И они представили себе такой сад. Теперь каждый чувствовал восхитительный аромат. Стол под их руками загудел и затрясся. Миссис Папагай спросила:

— Это дух?

И в ответ раздалось три быстрых утвердительных удара.

— Это дух того, кто нам знаком?

Удары посыпались как горох.

— Я насчитал пятнадцать, — сказал капитан Джесси, — пятнадцать. Пять раз по три. Здесь пять духов, которых мы знаем. Быть может, это ваши малышки, миссис Герншоу.

Боль, надежда и страх миссис Герншоу ворвались в Софи Шики, терзая ее словно гигантский клюв. Она невольно вскрикнула.

— Быть может, это злой дух, — предположил

мистер Хок.

— Желаешь ли ты говорить с нами? — спросила миссис Папагай.

Раздались два удара, что означало сомнение.

— Или с кем-то одним?

Снова пятнадцать ударов.

— Или с мисс Герншоу?

Три удара.

— Если мы возьмем перья, ты будешь направлять их? Назовешь нам свое имя?

— Кто должен писать? — спросила у пришельцев миссис Папагай. Затем она одно за другим назвала имена всех сидящих в кругу, и духи выбрали ее, как она предполагала и надеялась. Она чувствовала, что боль и опустошенность прочно связывают сейчас миссис Герншоу и Софи, и по наитию знала, что должна сама взять перо, иначе жажда не будет утолена, но только усугубится. Ей хотелось передать этой несчастной, обездоленной женщине *хорошее* послание. Про себя она помолилась ангелам, прося утешения для нее: «Пусть она утешится», и, взяв в руку перо, добросовестно очистила от всякой мысли свой ум, чтобы он беспрепятственно пропускал к ее пальцам слова пришельцев.

Каждый раз, когда рука ее начинала писать без

всякого понуждения с ее стороны, ее на миг охватывал ужас. Однажды она с родителями гостила у кузена в Саутдаунсе, и ее повели посмотреть, как работает человек, отыскивающий под землей воду: человек шел по лугу, держа в руках раздвоенную ореховую рогатку, и вдруг прутик дернулся и согнулся. Она стояла между отцом и матерью, которые со скептицизмом горожан наблюдали все это, а человек взглянул на нее и, протягивая прутик, сказал: «Ну, теперь ты попробуй». Она отпрянула от рогатки, как от ножа, а отец засмеялся и сказал: «Ну что ты, Лилиас. Это всего-навсего деревяшка». Это и в самом деле была деревяшка, срезанная мертвая веточка, и, взяв ее в руки, она пошла по траве деревянной походкой, чувствуя, что выглядит довольно глупо. И вдруг что-то влилось в прутик и побежало по нему, заставило его брыкаться и извиваться в ее руках, и она завизжала в таком ужасе, что все поверили, никому не пришла мысль, что она может их разыгрывать. Теперь легко было представить тот опыт как случай ранней восприимчивости к силам животного магнетизма. Миссис Папагай рассказывала в спиритических кругах об этом как о проявлении своей духовной силы, о первом указании на то, какие в ней заложены способ-

ности. Но тогда она едва не упала в обморок от страха, да и теперь, когда, даже помолившись и преисполнившись надежды, она брала в руку перо, ее одолевал какой-то животный ужас. Ибо перо вело себя так же самовольно, как та ореховая рогатка. Ореховый прутик был посредником между руками девочки и невидимыми протоками холодных подземных вод — это было понятно. Но какая сила заставляла перо брыкаться, извиваться и выписывать буквы?

Обычно миссис Папагай начинала с разрозненных слов и обрывков фраз, но постепенно, изнизываясь друг на друга, слова сливались в цепочки, а из путаницы возникало послание или вырисовывался чей-нибудь портрет — блуждающее перо рисовало выразительные глаза, широкий лоб; бессвязные обрывки слагались в точную, яркую картину. Так было и сегодня:

> «Руки руки через руки рука сверху снизу над между под руками пусенькие ручки пусенькие пухлые ручки цветник роз руки запутались в траве морской на голой улице в лысом черепе не черепе детской головке небесные врата открылись в головке холодные руки такие

холодные такие холодные руки больше нехолодные цветник роз ЭМИ ЭМИ ЭМИ ЭМИ ЭМИ люби меня я люблю тебя мы любим тебя в нашем розовом саду мы любим тебя твои слезы делают нам больно они обжигают нашу нежную кожу как обжигает лед здесь холодные ручки порозовели мы любим тебя».

— Спрашивайте, миссис Герншоу, — сказала миссис Папагай.

— Вы мои девочки? Где вы?

«Мы растем в розовом саду. Мы твои Эми. Мы смотрим за тобой, мы заботимся о тебе ты будешь с нами еще не скоро не скоро».

— Узнаю ли я вас? — спросила женщина. — Я помню запах их волосиков, — сказала она Эмили Джесси.

«Мы выросли. Мы растем и учимся мудрости. Нам улыбаются ангелы и учат мудрости».

— Может быть, вы дадите совет вашей матуш-

ке? — спросила миссис Папагай.

Перо начертило на бумаге размашистую дугу и пошло выписывать заостренные буквы, не похожие на прежние, по-детски округлые:

> «Мы видим, что новый братец или сестрица принимает очертания, растет, как семя в темной земле; в наших темных могилах, в нашем розовом саду мы радуемся и уповаем на это дитя. Ожидай ее с надеждой, любовью и верой, не бойся, ибо, если ей велено будет вскоре прийти в нашу летнюю страну, тем будет она счастливее. Будь в этом уверена, это облегчит боль; переживи боль разлуки с ней, как потерпишь боль при ее рождении, наша милая смерть мама, милая смерть, мы любим тебя, люби же ее. Не нарекай ее нашим именем. Мы будем жить вечно. У нас одно имя, но и довольно. Мы пять пальцев одной розовой руки».

Миссис Герншоу словно таяла. Все ее полное тело колыхалось и дрожало, широкое лицо блестело от теплых слез, шея тоже стала мокрой, мелко тряслись ее большие груди, на руках проступили пятна влаги.

— Как же мне назвать ее? Какое имя дать? — спросила она.

Перо замерло, а затем медленно вывело прописными буквами:

«РОЗА, — и после продолжительной паузы: — МУНДИ».

И вновь решительно застрочило:

> «Назови ее Розамунд Роза Мира и может быть она погостит подольше на твоей мрачной земле и принесет тебе радость милая мама нам не дано знать так ли это будет но если тому быть не суждено мы с радостью примем в наш цветник новую розу и все же мы верим и надеемся что если ты будешь сильной она тоже будет сильной и проживет с тобою долгие годы милая смерть мама».

Писать «смерть», когда очевидно подразумевается «дорогая»[31] и наоборот, было странностью, присущей бессознательному письму миссис Папагай. Так выходило само собой; и все давно решили не придавать этому большого значения; один мистер Хок искал в сходстве этих слов

---

[31] Примечания: 31

«Dear» (англ.) — дорогая — написанием напоминает «death» — смерть.

тайный смысл или умысел. Миссис Папагай немного испугало то, с какой определенностью духи провозгласили, что, во-первых, миссис Герншоу ожидает малютку и, во-вторых, что ребенок будет девочкой. Она тяготела к посланиям более тактичным и двусмысленным, наподобие предсказаний дельфийского оракула. Миссис Джесси отирала слезы миссис Герншоу скомканным носовым платком — тем же платком она, покормив Аарона, вытирала руки. Софи сделалась матово-жемчужного цвета и застыла словно статуя. Мистер Хок, разумеется, принялся рассуждать о том, поддается ли проверке правдивость этого милого, трогательного послания.

— Это — подлинное пророчество, миссис Папагай. Остается решить, ложное оно или истинное. Миссис Герншоу вновь залилась слезами.

— Ах, мистер Хок, все это правда. Все, ими сказанное. Всего неделю назад я догадалась и ни с кем не делилась, даже с моим мужем, но они сказали правду: я жду ребенка и, буду откровенна, меня одолевал страх, а надежда едва теплилась; после того что я пережила, страх мой простителен, и милые малютки поняли и простили меня, и пришли ко мне с утешением. — Ее белая шея дрожала от клокотавших в горле слез: — Я сдела-

ла все, чтобы не допустить… я уже не надеялась… мне было страшно, очень страшно.

Миссис Папагай, ужасаясь того, что сейчас предстанет перед ней благодаря ее неукротимому воображению, с нетерпением и гадким любопытством мысленно ворвалась в супружескую спальню миссис Герншоу. Крупная женщина, плача, расчесывает волосы — у нее, должно быть, хорошая щетка с ручкой из слоновой кости, да, и она сидит перед небольшим туалетным зеркалом. На ней черный шелковый — *траурный* — пеньюар. Она расчесывает свои густые волосы и уже сняла драгоценности: кучка гагатовых и эбеновых крестиков и медальонов, траурных колец и браслетов печально высится меж двух свечей, будто крошечная усыпальница для ее дочек. И входит он, маленький мистер Герншоу; вот именно, он маленький человечек, похожий на черную осу, с густыми, жесткими, черными бакенбардами, которые он отпустил специально, чтобы выглядеть больше и внушительнее; на голове у него — хохол жестких черных волос, похожий на коротко подстриженную конскую гриву. Он подает ей едва заметный условный знак, давая знать о своих намерениях, о тех самых намерениях. Он может по-разному это сделать:

может тихонько подойти к ней, поднять прядь волос и поцеловать в печально согнутую шею или просто погладить по голове. И бедняжка все ниже, все ниже склонит голову: она готова исполнить супружеский долг, но страх переполняет ее, страх перед неотвратимым — извержением семени в ее лоно. Тут миссис Папагай попыталась обуздать свое разгулявшееся воображение, но оно вырвалось и снова полетело вперед: и вот мистер Герншоу крепко схватывает жену и теснит ее к кровати. Миссис Папагай взялась и ее представлять. Она снабдила ее бархатным балдахином, но тут же убрала его — слишком не к месту он пришелся. У них кровать большая и *мрачная*, — решила она, — широкая и пухлая, наподобие самой миссис Герншоу, с алым пуховым стеганым одеялом и свежими, пахнущими лавандой простынями. На эту кровать нелегко взобраться, и вот миссис Герншоу медленно влезает на нее — она уже сняла пеньюар и осталась в одной белой льняной сорочке, отделанной broderie anglaise и черными лентами. Она склоняется над кроватью, и ее груди покачиваются в колоколе сорочки, а он взбирается следом, ухватившись за ее широкие бедра. Да, миссис Папагай видит именно так — этот колючий человечек загоняет ее в постель,

словно свинью в тесный загончик. Из-под его полосатой ночной рубашки торчат ноги, словно каракулями испещренные черными волосами. У него худые, сильные, *угловатые* ноги, они могут ушибить. И вот такой следует диалог:

— Дорогая, я должен…

— Ради Бога, нет. У меня болит голова.

— Я должен. Сжалься, дорогая. Я должен.

— Я не вынесу этого. Мне страшно.

— Господь не оставит нас. Надо лишь следовать Его воле и верить в Его Промысел. — Бакенбарды колют ей лицо, маленькие ручки тискают ее дородное тело, острые коленочки подвигаются ближе к белым бедрам.

— Все же я не…

Миссис Папагай охватывает гнев: человечек оказывается наверху и начинает качаться, вверх-вниз, с животной одержимостью, не обращая внимания на мольбы жены. Но миссис Папагай раскаялась, рассердилась на себя за это сочинительство, вызвавшее в ней столько негодования, и попыталась все представить иначе: два отчаявшихся, любящих друг друга человека, охваченные горем, тянутся друг к другу в темноте, обнимаются, стараясь утешиться, и от тепла сочувствия в них естественно вспыхивает желание. Только эта

сцена, в отличие от первой, казалась неправдоподобной. Миссис Папагай вернулась, наконец, к действительности (эти сцены лишь на краткий миг заняли ее воображение) и подумала напоследок: наверное, другие тоже рассказывают себе выдуманные истории; может быть, человек постоянно наделяет ближних, и живых и мертвых, выдуманными чертами; и то, что она минуту назад узнала о сокровенной жизни миссис Герншоу — истинное ли это знание или ложное, или и то и другое, ведь духам было известно, что миссис Герншоу enceinte,[32] — понять ей не дано.

[32] Примечания: 32
Беременна (фр.).

V

— В комнате что-то есть, — произнесла словно во сне Софи Шики. — Между софой и окном. Живое существо. Все посмотрели в темный угол, — тем, кто сидел напротив Софи Шики, и в частности Эмили Джесси, сидевшей прямо напротив, пришлось повернуть голову и вытянуть шею, но они увидели лишь смутные очертания гранатов, птиц и лилий мистера Морриса.

— Вы его ясно видите? — спросила миссис Папагай. — Кто это, дух?

— Вижу ясно. Только не знаю, кто это. Но я могу его описать. Хотя и не полностью: для многих оттенков нет слов в человеческом языке.

— Опишите его нам.

— Он из какого-то вещества, которое походит — как бы сказать поточнее — на витое стекло. То ли сплетенные перья, то ли полые стеклянные трубки; они свиты как пряди волос в косе: как мышцы на рисунках, изображающих человека без кожи, но они из расплавленного стекла. Это существо очень горячее, испускает яркий шипучий свет… очертаниями оно походит на огромный графин

или флягу, но оно живое. На продолговатом стеклянном лице пылающие глаза, а впереди предлинный клюв или хобот… длинная шея чуть согнута, и этот нос, клюв или хобот… заправлен в… в… косицы огненной груди. Оно целиком состоит из глаз, оно заполнено золотыми глазами. На нем как бы перья… разноцветные перья в три слоя… не могу разобрать цвета… перья плотные, как густой туман… на шее брыжи из перьев, а посередине туловища что-то вроде мантии… не знаю, есть ли у него шлейф, хвост или крылышки на ногах, не вижу: оно все время колеблется, сияет, искрится, испускает пучки света. Я чувствую, ощущаю, что ему не нравятся некоторые мои слова, сравнения, что они его унижают; когда я сравнивала его с графином и с флягой, ему это не понравилось. Я ощутила его гнев, оно было горячим. Но оно хочет, чтобы я описала его вам.

— Оно настроено враждебно? — спросил капитан Джесси.

— Нет, — медленно проговорила Софи Шики и добавила: — Оно раздражено.

— Иные два — как звездный пояс, облегали чресла,

Скрывая бедра пухом золотым,

Пестревшим всеми красками небес,

— продекламировала миссис Джесси.

— Вы тоже его видите? — спросила Софи Шики.

— Нет. Я цитировала «Потерянный рай». Поэт описывает архангела Рафаила:

Шестью крылами стан
Его божественный был осенен.[33]

Капитан Джесси заметил:

— Про крылья ангелов пишут занятные вещи. Подсчитали, что для того, чтобы уравновесить тяжесть крыльев, ангелу необходима очень высокая грудина, в несколько футов, изогнутая, как киль у птицы, киль огромной птицы.

— Мой брат Горацио, — вступила в разговор миссис Джесси, — однажды наблюдая, как женщина-скульптор покрывает резьбой царские врата, заметил: «Эти ангелы — ну чем не гусыни неуклюжие?», чем очень ее огорчил.

— В подобную минуту, миссис Джесси, — сказал мистер Хок, — вы еще позволяете себе шутить. Какое легкомыслие…

---

[33] Примечания: 33
Пер. Арк. Штейнберга.

— Мы таковы, какими нас создал всеблагой Господь, — возразила миссис Джесси. — И Он знает, что наше легкомыслие выражает наше благоговение, наш ужас, нашу неспособность постичь чудесное. Трудно предположить, что мисс Шики созерцает сейчас чистый ангельский образ, образ ангела, сотворенного из воздуха, как ангел доктора Донна:[34]

Крыла и лик ее воздушны и едва ли
Не столь же, как у ангела, прозрачны.

Что общего может быть между эфирным ангелом и стеклянной бутылью с хоботом?

Даже в напряженнейшие, драматические моменты сеанс все же оставался просто вечерним развлечением. Нет, нельзя было сказать, чтобы миссис Джесси не верила в то, что Софи Шики видит пришельца из мира иного, — она была убеждена, что Софи в самом деле его видит; однако доля сомнения всегда присутствовала, как и скептицизм, и удобная, неосознанная животная невосприимчивость к невидимому, — все это отрезвляло, удерживало в границах здравого

[34] Примечания: 34

Джон Донн (1572–1631) — английский поэт. Автор лирических стихотворений «Песни и сонеты», цикла «Священные сонеты», поэмы «Анатомия мира».

смысла. Мистер Хок заметил тоном знатока:

— Возможно, мисс Шики видит ангельскую мысль, принявшую такой облик в мире духов, находящемся ниже мира ангелов. Сведенборг рассказывает много удивительного об ангельских эманациях, о следах их умственной деятельности, которые сохраняются в нас, чтобы проявиться в будущем. Он, например, полагал, что ангельские эманации достигают младенца еще в утробе матери, в частности останки супружеской любви ангелов (ибо любовь — это живой организм), и при определенных обстоятельствах мы способны ощущать их.

«Даже если перед мистером Хоком, — подумала миссис Папагай, — явится исполинский багровый херувим с огненным мечом, угрожая испепелить его, он все же станет искать этому объяснения; и если звезды посыплются с небес, как плоды фигового дерева, он и тут будет рассуждать об „определенных обстоятельствах“».

Софи Шики смотрела, как блестящее существо из витого стекла кипит и пузырится. Ее бросало то в жар, то в холод; она то вспыхивала, то, когда жаркая волна откатывала, вновь бледнела и коченела. Существо в образе фляги или вазы, наполненное глазами, золотыми глазами, напо-

минало скопление лягушечьих икринок. Но все же она чувствовала, что это скопление пылающих глаз едва различает ее самое, что существо видит обстановку комнаты и людей не так ясно и четко, как она, Софи, видит его.

— Он говорит: «пиши», — произнесла она сдавленным голосом.

Миссис Папагай в тревоге взглянула на нее и поняла, что ей больно.

— Кто будет писать? — торопливо спросила она. Софи взяла перо. Миссис Папагай заметила, как напряглись жилы на ее шее, и сказала остальным:

— Будьте предельно осторожны. Контакт опасен и болезнен для медиума. Сидите очень спокойно, старайтесь ей помочь.

Перо побежало по бумаге, выводя слова аккуратным, изящным почерком, полная противоположность по-ученически круглому и крупному почерку Софи:

«Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч.

О вашем легкомыслии я мрачно размышляю,

Ваш долг священен, вам о нем напоми-

наю:

Должны оплакивать вы вечно нашу Госпожу.

Лаодикия, Лаодикия».

Перо замерло, вернулось к написанному, вычеркнуло «Лаодикия» и медленно и старательно вывело:

«Теодицея новые новиссима.

Домой по сонной глади моря

Везет прах милый, прах один,

Груз черный — сгинувшую жизнь.

Прах. Прах».[35]

Чувства всех присутствующих, такие разные, но слившиеся в один поток, захлестнули миссис Папагай. Благоговейный ужас поразил миссис Герншоу, она с трудом могла дышать. Мистер Хок быстро соображал, что бы могли значить эти слова.

---

[35] Примечания: 35

Теодицея (греч. букв. — Божья правота, Божья справедливость) — течение в христианском богословии, имеющее целью объяснить существование зла в мире, которым управляет милосердный и справедливый Бог. Богооправдание в христианстве имеет давнюю традицию: впервые этим вопросом задался св. Августин, им занимался и Фома Аквинский, а в 1710 г. был опубликован философско-богословский труд Лейбница под тем же названием — «Теодицея».

— Это строки из Откровения, глава третья, стихи пятнадцатый и шестнадцатый. Послание обращено к ангелу Лаодикийской церкви: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Нам вменяют в вину недостаток усердия. Что значит теодицея, я не знаю; может быть, нам хотят сказать, что в нашем Маргите мы недостаточно ревностно приближаем Царствие Божье. Однако слова не все из одного текста.

—

Стихотворная строфа взята из «In memoriam», — сказал капитан Джесси. — В ней речь идет о корабле, который везет домой мертвеца, «груз черный — сгинувшую жизнь». Я всегда восхищаюсь этой строчкой: выходит, что вес груза есть тяжесть пустоты, черноты, сгинувшей жизни. Тяжелы не останки, но то, чего больше нет; этот прием называется парадоксом, не так ли? На море зловещее затишье, по его сонной глади идет под парусами, скользит неслышно, как призрак, корабль и везет…

— Довольно, Ричард, — прервала его миссис Джесси. — Все знают, что эта строфа из поэмы моего брата. Разговаривая с нами, духи часто

используют строки из этой поэмы. По-видимому, она им очень нравится, причем они говорят ее языком не только в моем доме — в наших мыслях эта поэма, естественно, занимает много места, — но и в других, во многих других домах.

В полумраке она оборотила к Софи Шики свое смуглое, хищное лицо. Ворон, сидевший с ней рядом, затрещал перьями, собачонка оскалила мелкие острые зубы.

— Помилуйте, к кому же обращены эти слова. Кто послал их?

— И кто эта «наша Госпожа», которую должно оплакивать? — поспешил добавить мистер Хок, всеми силами своего живого ума стараясь разгадать спиритическую головоломку.

Софи Шики пристально посмотрела на пришельца — в его глазах крутились горячие вихри. Она снова взяла перо:

Твой голос в высоте звенит,
И в шуме вод его я слышу;
Тебя в лучах рассветных вижу,
Твой образ — где закат горит.
<Откровение, 2, 4>

Мистер Хок бросился комментировать:

— В Откровении упоминается «Ангел, стоящий

на солнце», но это не вторая глава, а семнадцатый и восемнадцатый стихи девятнадцатой главы: «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных…»

— Нам хорошо знакомы эти слова, мистер Хок, — сказала миссис Джесси, — они в самом деле из семнадцатого и восемнадцатого стихов девятнадцатой главы.

Тогда капитан Джесси взял со стола Библию и заглянул в нее:

— А вот четвертый стих главы второй. Послание обращено к Ангелу Эфесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Бог мой. Как занятно. Что бы это могло значить?

— Так кто же эта «наша Госпожа», которую должно оплакивать? — не мог успокоиться мистер Хок.

— Это перевод сонета из Дантовой «Vita Nuova», — с ехидцей пояснила миссис Джесси. — «Наша Госпожа» — это Беатриче, умершая в двадцать пять лет и вдохновившая Данте на создание «Божественной Комедии». Поэт позна-

комился с ней, когда им обоим было девять лет, и хотя после ее смерти женился, остался верен ее памяти. Не откроет ли нам наш гость, мисс Шики, к кому из нас обращено предостережение?

Софи Шики посмотрела в бурлящие глаза, на оперенное тело.

— Оно исчезает, — промолвила она.

Перо вывело:

«Увы, кончина. Увы Э. моя. Увы».

— Послание предназначено вам, — сказала миссис Герншоу. Она хуже других была знакома с историей жизни миссис Джесси, и ее не встревожил грозный тон послания.

— Я так и думала, — сказала миссис Джесси. — Но мы все же не знаем, от кого оно. В круг спиритов, как всем известно, могут проникать разные духи, духи и живых людей, и мертвых.

Она разорвала круг и обхватила руками голову с прядями серебристо-темных волос. Ее жест вывел ворона из оцепенения; он вдруг взмахнул огромными крыльями, хлопнул ими над головой и, раскрыв черный клюв, показывая острый, черный, змеиный язык, хрипло, скрипуче закаркал. Темные перистые тени заметались по потолку. Мопс очнулся от дремоты, гортанно зарычал, заворчал глухо, и в брюхе у него громко забур-

чало. В камине, судорожно вспыхнув алым и малиновым, изрыгнув облачко дыма, рассыпался крошечный Везувий из угольков. От пришельца Софи Шики оставался теперь только контур из ярких линий на темном фоне; он был бледнее, чем золотые плоды и звездочки цветов на софе позади него, но потом и он исчез. Миссис Папагай объявила, что сеанс закончен. Ей ужасно хотелось поподробнее расспросить миссис Джесси о том, что значили слова пришельца, — она ясно видела, что миссис Джесси поняла их, отлично поняла смысл послания; видела, что эти слова задели ее за живое и она не желает раскрывать их смысл остальным.

Обычно после своих трудов они пили чай или кофе и обсуждали сеанс, но на этот раз миссис Папагай заметила, что миссис Джесси утомлена и им лучше уйти.

Сегодня миссис Джесси не благодарила ее. Капитан завел долгое, со многими отступлениями рассуждение о тех стихах великой поэмы, в которых Лауреат описывает море.

— Строки, где говорится о погребении моряка в океанской пучине, просто великолепны, — заявил он. — Вы можете подумать, что церемония изображена с точки зрения человека, далекого

от моря, и будете правы — океан действительно по-разному влияет на моряка и неморяка. По-моему, морская стихия представляется моряку более прозаичной, вездесущей и, пожалуй, более *таинственной*; моряк постоянно помнит о том, что вокруг него и под ним эта необъятная, беспокойная соленая бездна, грозящая ему смертью. Оттого жизнь человеческая представляется ему чрезвычайно хрупкой, короткой и преходящей, и это вполне естественно; неморяк более склонен обманываться кажущейся незыблемостью и надежностью окружающего мира, но его сильнее поражает зрелище мертвого тела, скрывающегося под водой; всякий раз, когда мне приходилось наблюдать, как тело погружается в пучину, оставляя за собой белый след из пузырьков (воздух, достигнув какой-то глубины, возвращается к поверхности, а тело все медленнее и медленнее уходит в иную стихию, где и упокоится) — всякий раз, когда я видел это, мне на миг делалось больно, меня охватывал ужас — поверьте, любой моряк, боится морской стихии, и это объяснимо; вы удивитесь, узнав, что очень многие моряки твердят про себя вот эти строки: мать молит Бога оберечь ее сына-моряка, в то самое время как он

В могилу упадает стоя

В койке своей как в пеленах
И с пушечным ядром в ногах.
Нет ей ни края, ни покоя.

Как это хорошо написано: «Нет ей ни края, ни покоя». Очень складно. Моряки хранят поэму под подушкой, они благодарны за сочувствие…

— Довольно, Ричард, — оборвала его миссис Джесси.

VI

Извозчик увез миссис Герншоу. Мистер Хок предложил проводить женщин до дома: во-первых, ему по пути, во-вторых, на улице темно, то есть прогулка выгодна всем. Когда они вышли на улицу, он попытался взять дам под руку, но Софи Шики приотстала, и получилось, что мистер Хок с миссис Папагай пошли впереди, а Софи, словно послушный ребенок, — за ними. На набережной горели газовые фонари, их желтые огни колебались и мерцали. За набережной расстилалось чернильно-черное море, и слабый ветер свивал на верхушках волн пенные гребешки. «Вот уж в самом деле, — подумала миссис Папагай, — нет ему ни края, ни покоя. Море, должно быть, уже добела обточило Артуровы кости. Может, и некому было как следует зашить его в „в пелены“. Но ты, мой друг, вернись скорей». — «Никогда», — отвечал шепотом рассудок.

— Какая мерзкая птица! — заговорил мистер Хок. — По-моему, ее присутствие на сеансе совершенно неуместно, миссис Папагай. Я говорил об этом миссис Джесси, но она не соблаговолила

прислушаться. И собачонка тоже неприятная — говоря без обиняков, миссис Папагай, она дурно пахнет. Но эта птица, мне иногда кажется, одержима злым духом.

— Когда я вижу ее, мистер Хок, то непременно вспоминаю Ворона Эдгара По:

> *Я сказал: «Признаться надо, облик твой не тешит взгляда;*
>
> *Может быть, веленьем ада занесло тебя сюда?*
>
> *Как ты звался там, откуда занесло тебя сюда?»*
>
> *Ворон каркнул: «Никогда!»*[36]

— Трудно решить, — заметил мистер Хок, — задумал ли поэт это стихотворение как мрачную шутку, или эти строки порождены неподдельным чувством утраты, тоски по умершему близкому человеку: легкость и стремительность рифмы не гармонируют с тоскливым и зловещим фоном.

— Зато оно легко запоминается, — проговорила миссис Папагай, — и когда укладывается в памяти, его уже невозможно забыть.

Свободной рукой она плотнее обмотала шарф

---

[36] Примечания: 36
Пер. М. Донского.

вокруг шеи и начала читать наобум:

Кресло я придвинул ближе: был занятен гость бесстыжий,

Страшный ворон, что на свете жил несчетные года.

И, дивясь его повадкам, предавался я догадкам, —

Что таится в слове кратком, принесенном им сюда,

Есть ли смысл потусторонний в принесенном им сюда

Хриплом крике «Никогда!»?

— Очень *живое* стихотворение, — заметил мистер Хок. — Оно описывает неизбывное горе, а вы, миссис Папагай, при вашем ремесле и с вашим даром, видите его, должно быть, предостаточно. Меня поразило, сколь близко сегодняшнее послание коснулось миссис Джесси: «Потому что ты оставил первую любовь твою». Повторный брак часто бывает невозможен, тонкость ситуации в том, что, как мы знаем, супруг и за могильной чертой остается неделимой частью супружеского союза — хоть и становится призраком. Поэтому повторный брак нежелателен. Что вы об этом

думаете, миссис Папагай?

— В Индии, — отвечала миссис Папагай, — вдова ложится на погребальный костер рядом со своим господином и добровольно принимает смерть через сожжение. Мне трудно такое представить, но обычай этот соблюдается и по сей день; говорят, самосожжение там довольно распространено.

Она пыталась представить, как женщина в длинных шелковых одеждах с радостью ступает на гору благовонных дров и заключает в объятия мертвое умащенное тело. Вообразила языки пламени. И без труда представила себе отчаянное, невольное сопротивление женщин, юность которых восставала против смерти, представила смуглые руки и суровые лица тех, кто обуздывал, связывал, принуждал идти на костер непокорных.

— Ну а с точки зрения христианина, — настаивал мистер Хок, — хорошо или дурно поступила миссис Джесси?

— Миссис Джесси была всего лишь помолвлена, — отвечала неуверенно миссис Папагай. — Они не были в браке.

— А я хочу сказать следующее, — отозвался мистер Хок. — Сведенборг, как вы знаете, учит,

что истинная супружеская любовь приходит к человеку лишь однажды и у нашей души, может быть лишь один супруг, единственная половина, которая ей идеально подходит. Ангел соединяет половинки в целое, и так рождается супружеская любовь. Ибо небесное Супружество (а Небо и есть Супружество, Супружество Богочеловека и в Богочеловеке) сочетает истину с добром, сочувствие с волей, мысль с нежностью, так как истина, сочувствие и мысль считаются мужскими началами, а добро, воля и нежность — женскими.

Потому-то супругам даются на Небе имена не двух ангелов, но имя одного ангела — такой смысл, учит Сведенборг, вкладывал Господь в свои слова: «…не читали ли вы, что Сотворивший их в начале мужчиной и женщиной сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».[37]

— Прекрасно и очень верно, — заметила неопределенно миссис Папагай. Ее воображение не могло ухватиться за добро, волю, истину и

---

[37] Примечания: 37
Матф., 19, 4–6.

сочувствие: то были холодные, бесплотные слова, похожие на одинаковые монетки, которые по воскресеньям бросают — звяк, звяк — в блюдце на нужды благотворительности. Зато она хорошо представляла себе «одну плоть» («чудище о двух спинах», — смеялся Артуро) и то восхитительное ощущение, когда все тело — от груди до самого ключа в замке, соединяющего двоих, — словно тает, растворяется от тепла.

Свободной рукой мистер Хок потрепал ее по руке, что лежала скромно на сгибе его локтя.

— Сведенборг, — продолжал он, — живописует небесное блаженство супругов самыми яркими, самыми радужными красками. Он рассказывает, что на внутреннем Небе супружеская любовь, она же невинность, предстает взгляду во множестве великолепных обличий: это может быть прекрасная дева в сияющем облаке или эфирный шар, сверкающий, как бриллиант, огненно-искристый, словно усыпанный рубинами или карбункулами. Ангелы, миссис Папагай, облечены в одежды, соответствующие их природе, поскольку на Небе все находится в соответствии. Самые мудрые ангелы носят одежды огненные или блистающие ярким светом, тогда как на менее мудрых одежды снежно-белые или матовые,

без особого блеска, а у еще менее разумных ангелов одежды разных других цветов. Но ангелы внутреннего Неба наги.

Мистер Хок, немного запыхавшись, выдержал эффектную паузу и потрепал затянутую в перчатку руку миссис Папагай, лежавшую на его руке. Миссис Папагай задумалась над словом «карбункулы»: карбункул, когда она читала или слушала о великолепии Небесном, неизменно представлялся ей в земном, плотском смысле — как твердая болезненная припухлость на ступне, носу или ягодице. «Выходит, и у Богочеловека, — посмеивалось в ней что-то неукротимое, что-то от Артуро, — выходит, и у него бывают прыщи!»

— Сведенборг, — продолжал мистер Хок важно, — первый из основателей религий определил радостям любви главное место на Небесах — то же, что они занимают во многих земных сердцах. Он первый постиг и поведал нам, что любовь земная и любовь Небесная в их высшем проявлении суть истинно одна Любовь. Его истолкование нашей природы и нашего истинного долга благородно и пугает смелостью суждения, вы не находите?

— Лучше вступить в брак, нежели разжигаться, — ответила миссис Папагай задумчиво

словами угрюмого предписания женоненавистника святого Павла,[38] но миссис Папагай размышляла сейчас о собственных желаниях ума и тела. Она чувствовала, что, шагая с ней рядом, мистер Хок «разжигается», хотя и не подает виду.

— Давайте поговорим о вас, миссис Папагай. Как бы вы отнеслись к повторному браку? Не сочтите мой вопрос дерзким. По-моему, он вполне пристоен. Я спрашиваю об этом, потому что пекусь, очень пекусь о благоденствии вашей натуры, к которой тянется моя натура, ваша тончайшая чувствительность должна была вам об этом поведать.

Как хорошо он все продумал, размышляла миссис Папагай. Она даже мысленно крикнула ему «браво» Сформулировав ей свою просьбу, он оставлял для них обоих возможность с достоинством отступить в чисто духовное общение. Он говорил откровенно, но был в то же время уклончив. «Браво», — повторила про себя миссис Папагай и посмотрела на темное море, подумав об Артуро, который покоится в его глубинах. Был ли Артуро ее духовным супругом, недостающей половиной ее ангела? Этого она не ведала. Но

---

[38] Примечания: 38
1 Кор., 7, 9.

зато помнила, что Артуро удовлетворял ее тело так, как до него она и вообразить себе не могла: он обжигал ее тысячью огоньков наслаждения, — и ее ноздри, и живот тосковали по его запаху, мужскому, соленому, табачному, сухому запаху желания. И тело, которое доставляло ей такое наслаждение, лежало теперь обезображенное на дне, придавленное тяжестью холодной воды. В послании было несуществующее ласковое слово «пусенький» — «пусенькая ручка». «Посмотрите-ка, какие у крошки Лилиас пусенькие ручки и ножки», — сюсюкал бывало Артуро. Возможно, то было искаженное слово, заимствованное им из какого-нибудь языка, а он владел множеством языков, возможно, он придумал его сам, чтобы обозначить то, что любил целовать и ласкать. Она была почти уверена, что в послание для миссис Герншоу от ее дочек Артурово словечко по странной прихоти вставил ее собственный ум. Но, быть может, это сам Артуро давал ей знать о своем присутствии.

— Не знаю, мистер Хок, — ответила миссис Папагай, — я была счастлива с капитаном Папагаем, я все еще горюю по нем и уже смирилась с одиночеством. Стараюсь обходиться тем, что есть. Стараюсь быть добропорядочной и не унывать.

Я ничего не могу сказать о «духовном супружестве». Мне доводилось видеть мужчин и женщин, снедаемых любовью друг к другу, но сама я не испытывала такого, даже не представляю, как это бывает. Но, признаюсь, мне недостает уюта: уюта общего очага, совместной жизни, взаимной любви, хотя изо всех сил стараюсь примириться со своим нынешним уделом.

— А мне так и не довелось насладиться ни счастьем, ни уютом. Однажды счастье казалось совсем близким, но чашу отвели от моих губ, когда они уже касались ее края. Я тоже смирился со своей одинокой полужизнью. Вряд ли в той женщине я нашел и потерял свою единственную половину, но тогда мне думалось, что эта она. Сведенборг говорит, что Господь, пребывающий в Богочеловеке, понимает тех людей, которые, не лицемеря, ищут своего духовного супруга и для этого неоднократно вступают в земной брак; он не осуждает такие браки в отличие от любодеяний, совершаемых по легкомыслию души.

Миссис Папагай ответила не сразу.

— Вы хотите сказать, мистер Хок, что узнать в человеке свою половину бывает нелегко?

— Думаю, да, миссис Папагай. Мужчина всматривается в одну женщину, в другую и гадает: она

или не она? — и мучается искренним сомнением. И мне такое случалось. Но я так и не разглядел свою половину.

Дальше они шли молча, а за ними в своих серых ботинках бесшумно скользила Софи Шики.

Они добрались до дома миссис Папагай; здесь по заведенному обычаю все трое выпивали портвейна или хереса, а потом мистер Хок уходил восвояси. Дом был высокий и длинный; на двери висел дверной молоток в виде толстой рыбины — и Артуро когда-то, и Софи Шики были от него в восторге. Бетси, выполнявшей всю работу по дому, дано было указание в холодные зимние вечера к их возвращению, а приходили они с сеанса измотанные, растапливать камин. И сегодня огонь ярко пылал в гостиной на втором этаже, — это была узкая комната с высокими потолками и высокими узкими окнами. Миссис Папагай достала бокалы и стала наливать в них вино из графина. Мистер Хок подошел к камину погреть ноги. Софи Шики села в отдалении от них и от огня, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Мистер Хок заговорил с ней:

— Вижу, милая, что сегодняшний сеанс вас очень утомил. Существо, которое вы нам описали, весьма необычно, настолько необычно, что

трудно полагать его просто плодом талантливого воображения.

— Да, я очень устала, — отозвалась Софи, — меня уже не хватит на бокал портвейна. Если можно, миссис Папагай, я только выпью молока и сразу уйду к себе. Мне очень не по себе. Словно мы что-то упустили. Что-то тяготит меня. Мне надо лечь, успокоиться.

В самом деле, принимая стакан молока, она с трудом разомкнула веки, и члены ее налились мраморной тяжестью. Маленькими глотками она стала прихлебывать молоко; мистер Хок наслаждался портвейном, а огонь вспыхнул ярче и вытеснил из комнаты взвесь морской сырости и дымного воздуха.

Софи Шики сонно поднялась и ушла спать. Мистер Хок сел в кресло лицом к хозяйке. Миссис Папагай пошла налить ему еще вина и, увидев в зеркале над столом свое отражение, решила, что все еще хороша собой. У нее был густой, но здоровый, живой румянец; красивые черные ресницы затеняли большие темные глаза; нос был остренький и с горбинкой, хотя и изящный; нельзя было сказать, что она слишком худая или слишком толстая. Она встретила свой пристальный, требовательный взгляд и мельком

увидела позади себя мистера Хока — знакомым оценивающим взглядом он мерил ее талию и бедра. Вдруг ей стало ясно, что сейчас он будет говорить. Он решил сделать ей предложение и получить ответ.

Она не торопилась наливать из графина, обдумывая ответ. Конечно, ей нужна компания, чтобы было с кем посплетничать, — нужен человек, о котором бы она заботилась, а Софи — неважная собеседница и лишена любопытства, она будто живет в другом мире, вот именно — в другом мире. А мистера Хока можно научить смеяться, можно научить избавляться от своей торжественности — он ведь человек сластолюбивый, а какой сластолюбец не откажется хоть на время от своих проповедей, оставшись наедине с красавицей женой? «Я отказываюсь, — убеждала она себя, — от отличной партии. Надо хотя бы немного его поощрять, правильнее всего принимать знаки его внимания с достоинством и радушием; надо развязать ему руки и посмотреть, каков он и как себя поведет».

— Кхм, — громко откашлялся мистер Хок. — Миссис Папагай, я хотел бы вернуться к прерванному разговору. Пусть наш разговор будет… давайте мы с вами кое-что предположим… пусть

он будет более личным. Вот мы с вами сидим у огня и чувствуем себя совсем свободно, я бы даже сказал, очень естественно себя чувствуем, вместе наслаждаемся теплом и вином; у нас с вами общие идеалы, мы оба очень восприимчивы и легко воспринимаем, — он говорил совсем не то, что думал: его привычка проповедовать оказалась сильнее его, — волеизъявления незримого мира духов, окружающего нас со всех сторон, такого близкого и дивного.

— Да уж, — сказала миссис Папагай, — это правда, и слава Богу. — А сама подумала: «Как-то неискренне это у меня вышло».

— Я надеюсь, — продолжал мистер Хок, — что несколько скрасил ваше одиночество своей заботой о вас, своим соучастием и, если позволите, миссис Папагай, своим чувством к вам.

— Да, я это ощутила, — намеренно торжественно и неопределенно ответила миссис Папагай. «Что церковь, что гостиная, — подумала она, — для него нет разницы. Неужели так будет всегда? Быть может, в постели он станет другим? Или он заставит жену часами молиться вместе с собой у кровати или даже, — ее воображение вновь пустилось вскачь, — во время близости?»

— Лилиас, — позвал мистер Хок, — позвольте

мне звать вас по имени.

— Уже много лет никто не называл меня Лилиас, — сказала миссис Папагай. И тут мистер Хок оплошал.

— Зовите меня Джоб, — сказал он и плашмя повалился на миссис Папагай, которая сидела на своей вишневой бархатной софе.

Может быть, думала она впоследствии, он просто оступился и потерял равновесие; наверное, он хотел подойти и сесть у ее ног или поцеловать ей руку, — но как бы то ни было, пухлый человечек бухнулся ей прямо на колени; вот так же Мопс взбирался на софу миссис Джесси; его пальцы заскребли по ее груди, а его дыхание, насыщенное парами портвейна, обдало ей губы и ударило в ноздри. Тогда миссис Папагай, благоразумная и умудренная жизнью женщина, взвизгнула и машинально с силой оттолкнула его от себя, так что он отлетел и уселся на коврике перед камином, вцепившись в ее щиколотки, побагровев и с хрипом дыша.

VII

При свете лампы миссис Джесси изучала послание. Служанка, неопрятная, упрямая и истеричная девица, которая часто падала в обморок от запаха хереса и при которой сверхъестественным образом из графина улетучивался виски, а из ящиков — столовое серебро, унесла пустые чашки и расшевелила кочергой угасающий огонь. Капитан расхаживал взад и вперед у окна, посматривал на звезды и бормотал что-то насчет погоды — складывалось впечатление, что он ведет дом как корабль по бездонным хлябям в далекий порт. Из этого окна моря не было видно, он так деловито выглядывал наружу, словно воочию видел его. Он вслух производил математические расчеты, делился сам с собой астрономическими наблюдениями, оценивал видимость Сириуса, Кассиопеи и Плеяд.

— Довольно, Ричард, — приказала миссис Джесси механически, наморщив лоб: она все разбиралась в послании.

Однажды она нечаянно подслушала разговор золовки, Эмили Теннисон, с кем-то: Эмили рас-

сказывала, что Альфред просто бежит из дому под любым предлогом, если ожидается визит капитана Джесси — капитан вечно бубнит что-то невразумительное, Альфреду же для сочинения стихов необходима полная тишина.

— Она пеленает своего Альфреда как мумию и пуговицы ему как дитяти застегивает, — часто повторяла про себя безжалостно Эмили, но лишь про себя, ибо все Теннисоны остро чувствовали родство и страстно любили друг друга; все до единого, за исключением несчастного Эдварда, который обретался в приюте для душевнобольных. Но и его они изо всех сил старались любить, окружали вниманием, пока не стало ясно, что все это тщетно. Альфред писал отличные стихи, писал даже лучше, чем сейчас, тогда в их доме, в веселой и гораздой на выдумки суете, которой так восторгался Артур, — это было в 1829 и 1830 годах, в те несколько недель, когда их неистовый отец уехал во Францию; предоставленные самим себе, они расцвели, оживились. Уже тогда Альфред был великим поэтом, он и по сей день оставался им; Артур сразу же признал в нем великий талант — с восхитительной, спокойной убежденностью в этом, так ободрявшей и укреплявшей веру Альфреда в свои силы!

Миссис Джесси всмотрелась в почерк, которым было написано послание. Он не имел ничего общего с невинными петельками и кружочками Софи Шики. Он напоминал ей мелкий и стремительный почерк Артура и одновременно — почерк Альфреда, тоже мелкий и стремительный, но менее убористый. Наклон букв кое-где менялся. Встречалась характерная Артурова маленькая *«д»* с завитушкой наверху, но не во всех словах. Такая *«д»* была в слове *«должны»* (*«Оплакивать должны вы вечно нашу Госпожу»*) и еще в загадочном для непосвященных слове *«Теодицея»*. Послание имело несомненную связь с Артуром, и, быть может, ей следовало разрыдаться, как разрыдалась миссис Герншоу, от тоски и муки — ведь почерк в послании так сильно был похож на его почерк! Но она не заплакала. Она предпочла вслух усомниться. Притворилась. Она, «вечная Госпожа» Артура, «монна Эмилия», «моя Эмили», «милая Нем», «милая Немкин», отлично знала, что эти Дантовы строки не просто цитата из «Новой Жизни», но строки одного из стихов, в котором Данте пишет о любви к своей покойной Госпоже, монне Беатриче, переведенного Артуром с итальянского незадолго до смерти. *«L'amaro lagrima che voifaceste»*, — он предло-

жил и ей перевести стих и посмеивался над ее неважной памятью и неуклюжим синтаксисом. «Вы горько плакали», — напоминает поэт своим глазам, когда их взгляд на миг падает на другую деву; отсюда и укоризна: «Ваш долг священен, вам о нем напоминаю. Оплакивать должны вы вечно нашу Госпожу». Какой шум подняла бы спиритическая печать, как поразились бы члены Новоиерусалимской Церкви, если бы узнали про такое связное, точное и личное послание духов! Но помимо прочего, кроме уже привычных цитат из «In memoriam», в этом послании упоминалась «Теодицея». «Теодицею» Артур написал специально для высоколобых кембриджских «апостолов», и, прочитав эссе, они согласно решили, что оно очень оригинально и великолепно написано. В «Теодицее» Артур доказывал, что зло существует в мире потому, что Богу необходима человеческая любовь, страстная любовь; по этой причине он сотворил осязаемого Христа как предмет желания, а для того, чтобы любовь к Христу могла проявиться, создал полную греха и печали Вселенную. «Воплощение, — писал Артур, — сочетало человеческую любовь („связывающую двоих узами столь тесными, что каждый уже не мыслит себя без своей половины“) с любовью

Божественной, и, таким образом, смерть Христа ради любви есть путь к Богу». Эмили было неясно, почему Артур так уверен в том, что любовь не может проявиться без зла.

Эссе было очень абстрактным, но его переполняли страсти, кипевшие в авторе. Артур сожалел, что она его прочла:

«Я почти жалею, что ты читала мою „Теодицею“. Она, пожалуй, не прояснила, но, наоборот, затемнила твое видение добра и зла. Я полагаю, женщине ни к чему углубляться в богословие; постигая веру, мы более вас склонны находить в ней тонкие противоречия и имеем большую нужду в оружии, способном повергнуть их ниц. Но для неколебимой веры прочнейшей основой служит невинность. Сердце, а не разум должно внушить нам две основные истины: существует Любовь, существует и Зло. Так пусть же не скроют их от тебя, возлюбленная Эмили, облака сомнений и душевной смуты, пусть не скроют великого Факта, я имею в виду смысл Искупления, которое помогает нам не ужасаться Любви и Злу, но радоваться им».

«Я полагаю, женщине ни к чему углубляться в богословие», — какой резкой отповедью показались ей тогда эти слова! Каких трудов стоило

ее непривычному уму разобраться в хитросплетениях и тонкостях «Теодицеи», но в награду за труды Артур прислал ей еще одно высокомерное письмо, в котором давал ей понять, что ей, провинциалке, недостает изящности, что она, женщина, не всегда способна поддержать умную беседу, и ей стало не по себе, она испытывала раздражение и еще какое-то чувство, какому не было имени. Теперь, когда ей стукнуло шестьдесят четыре, она почти забыла, что Артур написал это в двадцать лет. А в двадцать два он умер. Он был юным богом. Для всех друзей и знакомых он был юным богом. Когда он оставался с нею наедине, его высокомерие пропадало; его лицо пылало (причиной тому было расстройство кровообращения, которым он уже тогда страдал), узкие губы выдавали смятение чувств. Но вместе они провели только месяц перед помолвкой, и еще трижды перед самой смертью он недолго гостил у них. Она для него была и богиней, и: ангелом-хранителем, и маленькой девочкой, и любимцем-ягненком. Ничего странного в таком отношении она не находила, по крайней мере в то время. Она страстно любила его. После тех нервных объятий на желтой софе она постоянно, ежедневно думала о нем.

Отогнав воспоминания, она вернулась к посланию. Одни укоры, одни горькие упреки — они адресованы ей, чтобы причинить боль. Какие они жестокие: *«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. О вашем легкомыслии я мрачно размышляю. Прах».*

Люди склонны к раздражительности и разочарованию, думала Эмили Джесси. Ей так хотелось поговорить с покойным Артуром, так хотелось убедиться, что он прощает ее за то, что из нее не получилось «вечной и верной монахини», говоря словами его сестры Джулии. Но Артур, должно быть, не простил ее, как не простили его родные и Альфред. В бюро хранится письмо от ее племянника Галлама Теннисона, названного, как и ее сын, Артур Галлам Джесси, в честь покойного Артура; они оба крестники старого Галлама, который был так добр и щедр к ней в память о сыне, in memoriam.

«Дорогая тетушка!

Вы можете представить мое удивление, когда мне стало известно, что экземпляр *«Праха»* Артура Галлама, надписанный для Вас его отцом, выставлен на продажу

в книжной лавке в Лайм Риджисе.[39] Мы с отцом полагаем, что Вы продали книгу по нелепой случайности, однако нам обоим неясно, как могло такое случиться. Мы немедленно выкупили ее, и она останется в нашей библиотеке, пока мы не получим от Вас соответствующего распоряжения. Вы, конечно, понимаете, что пережил отец, узнав об этом горестном недоразумении…»

Она была убеждена, что духов разгневал факт продажи *«Праха»*. Может быть, это Артур выражал ей свое недовольство, но ей хотелось надеяться, что Софи Шики при помощи сил животного магнетизма, посредством некоего эфирного телеграфа уловила и передала неодобрительное брюзжание Галлама Джесси или разочарование Альфреда. Не надо было продавать *«Прах»*. Продав книгу, она поступила очень дурно: старый мистер Галлам напечатал на свои деньги всего лишь сто экземпляров для близких друзей сына и родственников, как свидетельство его гениальности, столь трагически загубленной.

---

[39] Примечания: 39

Лайм Риджис — старинный город в графстве Дорсет на юго-западе Англии.

В книге были собраны его сочинения о Данте и о божественной Любви, о сочувствии и о Цицероне; сюда была включена и восторженная рецензия на *«Стихотворения, в основном лирические»* (1830) Альфреда, вызвавшая колкие насмешки желчного Кристофера Норта[40] по поводу «сверхчеловеческой, более того — сверхъестественной надменности» молодого критика. Эти насмешки вызвали бессильную ярость всех Теннисонов, вставших на защиту молодых людей: Альфреда, очень болезненно переносившего критику, и Артура, который — в силу своей гордой натуры — не подавал вида. Среди Артуровых стихов в книге были и те, что он благоговейно шептал ей, и стихи, обращенные к его бывшей возлюбленной, Анне Уинтур, о чьих достоинствах, как и всякий молодой человек на его месте, он подробно рассказал своей Эмили, сидя рядом на желтой софе, вручая ей свое сердце и свою короткую жизнь. Стихи, посвященные Анне, считала она, в целом были лучше тех, что он посвятил ей: они звучали живее, в них было меньше сладкого фимиама, он

[40] Примечания: 40

Литературный критик Кристофер Норт неоднократно давал плохие отзывы о поэзии молодого поэта. Так, в 1831 г. он обрушился с разгромной статьей на сборник Теннисона «Стихотворения, в основном лирические».

меньше обожествлял ее. В одном стихотворении он призывал Эмили войти с ним в Храм итальянской Поэзии и уверял ее, что «веселье музыки», «то наслаждение, что мы с тобой разделим» не навредит ее нежной душе и

Не умалит любви к отчизне,
Питающей и явь, и сны
Британской девы, будущей жены.

Этот стих напоминал ей, как она силилась овладеть итальянским, чтобы его порадовать. С какой необыкновенной точностью духи процитировали его перевод из «Новой Жизни»! Артур с гордостью показывал ей свои переводы, но в «Прах» их не включили. Старый мистер Галлам решил их сжечь, посчитав «слишком дословными и вследствие этого шероховатыми». Но ей нравилась эта шероховатость, в которой ощущалась мужская сила, откровенность, последнюю она привыкла ценить. Старый мистер Галлам многое решал самовольно: он разлучил влюбленных и взвалил на себя тяжесть вины за это, он проявил заботу о печальном будущем Эмили, назначив ей разделять его печальное будущее. Она старалась жить в печали. Но она выросла в ином окружении, и строгая правильность Галламов

была ей в тягость. Ей нравилась младшенькая Эллен, она, как и Артур, не напрягалась в испуге, если рядом появлялась особа противоположного пола; не стесняясь, выражала свою симпатию. Но их дружба не выжила. То есть не пережила ее замужества.

Нельзя сказать, что она намеренно продала «Прах». Дом был завален книгами, и, чтобы освободить место для новых, они с Ричардом время от времени отсылали букинисту пару корзин со старыми книгами. Когда они однажды снимали книги с полок, она краем глаза заметила переплет «Праха», но сделала вид, что не заметила. Она надеялась, что Артур простит ее за этот поступок. Ей причиняли невыразимые страдания его вещи, которые боготворили его поклонники, она была в их числе — отчаявшаяся, то и дело падающая в обмороки девица.

Она вовсе не была уверена, что Артур ее простит. Он очень дорожил своими сочинениями. Они жили вместо него. С намерением или без оного, но, продав «Прах», она поступила дурно. Она заслужила наказания.

Она не любила эту книгу потому, наверное, что само название мучило ее, вызывая в памяти строки того страшного письма:

«По возвращении в Вену из Буды он умер от апоплексического удара. Его останки прибудут домой из Триесты».

В те дни она против воли размышляла о жуткой участи его останков. Дух освободился, тело сгниет в земле. От кого-то она узнала, что сердце Артура привезли отдельно в железном ларце. Было вскрытие. Несчастного Артура, уже мертвого и бесчувственного, резали, ранили — «доктор пустил кровь, а по обследовании составилось общее мнение, что ему не суждено было долго жить». Он уже начал распадаться, но его вскрыли, что-то искали. Все время его отсутствия она всегда думала о его возвращении, представляла себе сцену свидания: его протянутые руки, веселые глаза, большой лоб с «шишкой Микеланджело», которым он так гордился. После его смерти она невольно воображала, во что превратятся эти руки, и глаза, и лоб, недаром ее детство прошло рядом с кладбищем. Она приходила в ужас, думая о том, что он сейчас медленно движется домой по морским волнам, но свой ужас не выказывала ни единой душе. Артур, наверное, понял бы ее состояние. Однажды он посмеялся над словом «пахучий», которое Альфред, говоря о благоухании сада, употребил в «Воспоминаниях

о „Тысяче и одной ночи“», помянув и зловонный труп прекрасной Розамунды:[41] «Пчелы могут пахнуть медом, весна — „благоухать юностью и любовью“, но безупречно точного использования слова, боюсь, мы не найдем ни на латыни, ни в английском языке; пусть лучшим примером нам служит эпитафия на монастырской могиле прекрасной Розамунды:

> «*Hie jacet in tomba Rosa Mundi, non Rosa Munda, non redolet, sed olet, quae redolere solet*».[42]

Но, может, он и не понял ее. Если тебя тяжело ранило, как ее, надо мысленно обнять мертвое тело и застыть, как застыла она в те долгие месяцы болезни и горя. Как застыл Альфред. Альфред тоже никому ничего не говорил, но из каждой строки «In memoriam» явствует, что воображением он исследовал то, что осталось — осталось, но было уже неузнаваемо, — от столь дорогого

---

[41] Примечания: 41

Розамунда (1140–1176) — любовница английского короля Генриха II. Предание гласит, что Розамунда была отравлена женой Генриха, Элеонорой Аквитанской. Тело Розамунды погребли в монастырской церкви.

[42] Примечания: 42

В этой могиле лежит Роза мирская, не Роза непорочная, и запах, что она испускает, — не розовый запах (лат.).

сердцу человека:

Вцепился в камень старый тис…
Под камнем спит без снов мертвец.
Главу оплел корней венец,
Корнями кости сплелись.

Как это мрачно, но в каком-то смысле прекрасно — мертвый слился с природой. Но были строки гораздо более страшные:

Не мщу я Смерти-изуверу
За искаженные черты.
Что б ни родил в союзе ты
С землею — не оставлю веры!

Плоды союза мертвеца и земли являлись ей во сне вплоть до публикации в 1850 году поэмы «In memoriam»; шел уже семнадцатый год со дня гибели Артура и девятый год ее замужества, избавившего ее от некоторых страхов и наваждений. «In memoriam» растревожила ее успокоившуюся было душу. Горе Альфреда не ослабело, и он отказывался снимать траур. И тем умалял ее пусть и глубокое, пусть и безысходное, отчаянное горе. Однако и сейчас еще, случалось, вспыхивали припадки ярости. Так, прочитав письмо от Галлама

Теннисона, она заметалась по гостиной, как будто ей стало тесно, и выкрикнула в пространство: «Выкупил, так не забудь украсить фиалками!» Фиалок в «In memoriam» было изобилие:

Печаль фиалкой обернется,
Распустится и зацветет.

В той восторженной рецензии на стихи Альфреда Артур писал:

«Когда умрет сей поэт, не оплачут ли его сами Грации и Любовь, fortunataque favilla nascentur violae?»[43] — и Альфред, скорбя вместе с фиалками по утрате, вернул покойному другу долг.

Когда Эмили овладевало мрачное настроение, она сравнивала «Прах» с базиликом Изабеллы, на горьких слезах и мертвой голове обраставшим благовонной листвой:

Он становился и высок и густ,
Как ни один подобный куст в Тоскане,
Корнями восходя из мертвых уст,
Ланит, очей, — и то, что было ране
Истлевшей отсеченною главой,

---

[43] Примечания: 43
Из счастливого праха родятся фиалки (лат.).

Взрастало благовонною листвой.[44]

Дурно, она знала, что это дурно — думая об Артуре, представлять образ его истлевшей плоти и пытаться успокоить больную совесть. Приезжая гостить к ним в Сомерсби, он превращал все вокруг в Страну вечного лета, Страну романтики. Вот он выпрыгивает из двуколки на дорожку у изгороди, под деревьями, обнимает Альфреда, Чарлза, Фредерика — своих кембриджских друзей, дружески улыбается младшим мальчикам и цветущим девушкам: красавице Мэри, умнице Сесилии, бедняжке Матильде и ей, диковатой, стеснительной Эмилии, Эмили.

— Как же я люблю вас всех! — воскликнул он, когда вечером при свете луны они сидели на лужайке перед домом. — Я влюблен в каждого из вас, каким бы романтичным, прозаичным, странноватым, каким бы решительно приземленным он ни был. — Он широко раскинул руки, как бы обнимая их всех, и этот жест позже отозвался в «In memoriam»: «И вязы черные стоят, ветвями обнимая поле». Они читали Петрарку и Данте, она пела и играла на арфе, и оттого, что Артур восхищенно вслушивался, не сводя с нее глаз, музыка

---

[44] Примечания: 44
Джон Китс. Изабелла, или Горшок с базиликом. Пер. Е. Витковского.

приобретала особую прелесть, звучность, чего не бывало, когда Теннисоны играли и пели друг для друга. И дух этих вечеров Альфред уловил и с поразительной точностью запечатлел в своей поэме воспоминаний, поэме «In memoriam», и хотя она слышала свой призрачный голос, в своих воспоминаниях, пел он слова из поэмы:

О счастье! На лужайке в круг
Сбирались мы, и милый друг
Читал. Поил сердца и слух
Тосканских вирш прелестный звук.
Там днем златым и в вечера,
Когда, всходя, луна яснела,
Под трели арфы песню пела
Для нас счастливая сестра.

От нее не укрылось, что Артур не мог сразу решить, кого из них двоих ему полюбить: Мэри или ее. Когда страстное чувство не заглушало в ней рассудок, она все зорко замечала, к тому же первое время она, как и все прочие Теннисоны, только восхищалась блестящим юношей. Он писал стихи им обеим, Эмили и Мэри, он одинаково восторгался их темными глазами, а возвращаясь с Альфредом с прогулки, приносил им букетики

лесных цветов. Он по-городскому раскованно ухаживал за женщинами, и, в отличие от сдержанной Мэри, Эмили пугалась его непринужденности и казалась сама себе деревенской мышкой, несмотря на то что до его приезда воображала себя, особенно когда выезжала верхом, этакой дикой байроновской героиней, за которой скоро явится прекрасный принц и увезет ее в сказочный замок. И она решила, что он отдаст предпочтение Мэри; она и сама любила сестру, любила по сей день и вместе с ней разделяла неземные восторги и упования сведенборгианки и спирита.

Но однажды, прогуливаясь в одиночестве по Сказочному лесу (вся их компания разбрелась кто куда), она повстречала его. Это случилось в апреле 1830 года; все было напоено влагой и залито серебристо-золотым светом солнца, по небу неслись длинные ленты облаков, дождевая пелена висела в воздухе, вспыхивали радуги; деревья были еще мрачными, но их уже покрывала живая вуаль из ярко-зеленых почек; от земли поднимался запах прели, и все вокруг было усеяно бледными анемонами и глянцево-желтыми цветами чистотела. Запыхавшись от бега, она остановилась на краю лесной прогалины, а он,

Артур, друг Альфреда, — на противоположной стороне; солнце светило ему в спину и окружало его сиянием, а его лицо было в тени. И он сказал ей:

— Вы похожи, правда похожи на лесную фею, на дриаду. Никогда не встречал такой красоты.

Если бы эту сцену припоминала другая женщина, она, возможно, дорисовала бы в воображении самое себя, чтобы заполнить пространство на своем краю поляны, как-то уравновесить его радостный, улыбающийся лик, но, поскольку Эмили не имела привычки простаивать перед зеркалом, собственный образ не удержался в ее памяти. Она даже не могла вспомнить, в каком была платье. Она только помнила, с каким восхищением он любовался ею; помнила, что шагнула ему навстречу — и в этот миг он перестал быть просто другом Альфреда: теперь это был юноша, он любовался ею, исполненный, как и она сама, в равной мере ожидания и опасения. Она подошла к нему по цветочному ковру, сквозь запах прелых листьев, а он взял ее руки в свои и сказал:

— Неужели прошел всего месяц с тех пор, как я полюбил вас? А мне кажется, вечность прошла!

Они взялись за руки, и так, полагала она, родилась ее любовь к Артуру: на прогалине в лесной

чаще, среди листвы и цветов; в лесной чаще, какую встретишь только в Англии, говорил Артур, ибо тот священный миг принадлежал и ему, он сотворил его, в лесной чаще, какую встретишь у Мэлори и Спенсера, в священной чаще, подобной вечным священным рощам, Неми и Додоне.[45] В письмах он называл ее то Нем, то милая Дод, переделывая на детский лад демонические слова, так ей казалось тогда. Он сравнивал ее с прекрасной Персиянкой из Альфредовых «Воспоминаний о „Тысяче и одной ночи“», «одетой в чернь волос благоуханных, в чернь свежих локонов прекрасных». Вспоминая ту чащу в Волшебном лесу, он цитировал чистым и выразительным голосом, более высоким, чем густое рычание поэта, строки этой живописнейшей поэмы, в которых говорилось о «беседках лиственных и гротах», о соловье, который поет в чаще:

Ночные ветерки стихали,
Заслышав голос соловьиный.
Не соловей то — амальгама

---

[45] Примечания: 45

У горного озера Неми в Центральной Италии (область Лацио) в древние времена находился храм богини Дианы, окруженный священными рощами. Додона — святилище Зевса в Древней Греции (в области Эпир на западе страны).

Тьмы, ликованья и печали,
Страданья, смерти и бессмертной
Любви, что протянулась трелью
Сквозь время и вовне пространства.

Воображение создало и обессмертило Сомерсби, разливаясь соловьем. В «Оде памяти» и «Воспоминаниях о „Тысяче и одной ночи“» Альфред, тогда еще молодой человек, по его признанию, хотел передать новое для себя ощущение, ощущение невозвратного прошлого, в котором остались его детские книги и сад, превращенный его воображением в райский сад. И взрослея, Теннисоны все чаще и чаще поминали земной сад словами его поэмы:

Под буйством розовых ветвей —
Сплетенье множества аллей:
Те к гротам сумрачным сбегают,
Иные взгляду открывают
Средь яркой зелени листов
Поляны царственных цветов.
Наступит час, и в этот край,
Где нет зимы и вечно май,
Придем и мы, забыв тревоги,

И станем юными, как боги.
Нам духи милые предстанут,
И говорить нам мудрость станут
Тысячеумные друзья —
Внимать им станем ты и я.
О, только б быть с тобою рядом,
Мой друг! Ни трона мне не надо,
Ни скиптра, ни златых нарядов.

Цыганские руки миссис Джесси перебирали шуршащие листы — она вновь блуждала в чаще мыслей, обступавшей бессмертный Сомерсби, созданный людьми и для людей. Там ей встречался Альфред — он хотел жить рядом с другом. Он удостоил его, без тени иронии, высокого титула «тысячеумный» — так назвал Шекспира Кольридж. Нет, она не ревновала к Альфреду, да и с чего бы? Артур хотел жениться на ней, от ее близости у него перехватывало дух, на ее губах он запечатлевал страстные поцелуи. Он очень хотел на ней жениться, горел желанием жениться на ней — это было очевидно. Альфред вел себя иначе. Как жестоко он испытывал терпение Эмили Селвуд, которая приходилась Луизе, обожаемой жене Чарлза, сестрой. Их помолвка неоднократно

расторгалась, и он женился на ней лишь в 1850 году, когда увидела свет «In memoriam»; невесте было уже тридцать семь лет, юность безвозвратно миновала. В свое время и Эмили Селвуд посылала Эмили Джесси отчаянные письма, умоляя подтвердить, что их любовь и дружба не иссякли; Альфред же был погружен в мрачные раздумья, ограничивался двусмысленными отговорками и, уезжая куда-то, писал стихи. «Как забавно, — удивлялась всякий раз Эмили Джесси, — Эмили Селвуд, ничтоже сумняшеся, твердит всем о том, как она повстречала Альфреда, прогуливаясь с Артуром в Холиуэл Вуд».

«На мне было голубое платье, — рассказывала Эмили Селвуд. — Вдруг из-за деревьев в синем длинном плаще появляется Альфред и спрашивает меня: „Кто вы? Дриада или, быть может, наяда?“ И вдруг я понимаю, что люблю его, и, вопреки всем соблазнам и мукам, моя любовь к нему остается неизменной».

Эмили Джесси представила, как молодые люди на ночь глядя беседуют в своей комнате. Курят, лежа в мансарде на белых кушетках, и Артур рассказывает Альфреду об их встрече в Волшебном лесу, а тот обращает повествование друга в стихи и в стихах оказывается на месте Артура,

играет его роль — это он, Альфред, встречает в лесу другую Эмили в другом голубом платье, идущую под руку с Артуром. Альфред мгновенно *растворял* реальность в поэзии. И очень часто путал лица: как-то на одном из театральных вечеров у Диккенса в 1844 году он взял Джейн Карлейль,[46] своего близкого друга, за руку и совершенно серьезно спросил ее: «Скажите мне, кто вы? Я уверен, что знаком с вами, но не припомню вашего имени». Отозвавшись на его «вы, быть может, наяда?», думала Эмили, Эмили Селвуд обрекла себя на муки, хотя в конце концов она была по-своему счастлива. Она вырастила двух сыновей и была замужем за Лауреатом, который вывозил ее на прогулку в инвалидной коляске.

Эмили знала, что женщины, шушукаясь, рассказывают друг другу о своей любви в восторженных тонах: вспоминают слова возлюбленного, описывают его внешность, поведение — был ли он на свидании умерен в себе или очаровательно робок; и романтические нотки так восхитительно вплетаются в тихую беседу; и оставшись вновь наедине с предметом своей любви, после того как до последней мелочи обсудила его с сестрами

[46] Примечания: 46
Жена английского историка и публициста Томаса Карлейля.

и подругами, женщина, как правило, бывает поражена *разницей* между живым человеком и образом, который сама сотворила; иногда это ее возбуждает, иногда пугает, а бывает, и разочаровывает. А как между собой говорят о женщинах мужчины? Считается, что их занимают другие, более возвышенные темы. «Тысячеумные друзья» Артур и Альфред говорили о ней и об Эмили Селвуд. Что же они обсуждали?

Если быть до конца с собой откровенной, надо признать, что она по сей день помнит то чувство, которое переживала, видя две мужские спины и две пары ног, резво поднимающихся по лестнице в мансарду, — ее словно бы оставляли за вратами рая. Друзья часами, бывало до рассвета, вели разговор о любви и красоте; до нее доносились неразборчивые обрывки фраз: то раздавалось задумчивое ворчание, то звучал быстрый, решительный и выразительный голос. Она слышала, как они читают стихи. «Оду соловью». «Оду греческой вазе». «Покоя девственной невестой став…»[47] — она знала стихотворение наизусть и могла восстановить неуслышанное. Артур хвалил стихи Альфреда, сравнивал его с

[47] Примечания: 47
Пер. В. Потаповой.

Китсом и Шелли. Он называл его «поэтом чувства», цитировал письма безвременно погибшего юного поэта. «О если б жить не разумом, но чувством!» — одобрительно восклицал он вслед за ним, когда хвалил Альфреда за его стремление к добру, совершенству, истине, за его стихи, проникнутые «чувствительной любовью к красоте». В «Теодицее» Артур утверждал, что Бог создал Вселенную, полную греха и печали, чтобы через Сына, искупившего падение мира и сделавшего его прекрасным, ощутить любовь к Себе. Раз, выйдя на лужайку, она наткнулась на них: они полулежали в плетеных креслах, откинувшись на мятые подушки, и беседовали, как свойственно мужчинам, о природе вещей. Из трубки Альфреда поднималась и таяла в воздухе струйка дыма. Артур втыкал в землю железную тяпку, с помощью которой садовник — вопреки протестам Теннисонов, любивших всякую былинку, — безуспешно боролся с маргаритками и клевером, разросшимися на лужайке.

— Такое миропонимание зародилось еще в мифологии неоплатоников, — говорил Артур. — Разум, высший Разум, или Нус, погружаясь в неподвижную Материю, Хиле, порождает жизнь и красоту. Нус — мужское начало, Хиле — жен-

ское, подобно тому как Уран-небо — мужское, а Гея-земля — женское, как Христос, Логос, иначе Слово, — мужское начало, а душа, им животворимая, — женское.

Юная Эмили Теннисон, держа в руках корзину с книгами (с Китсом и Шекспиром, «Ундиной» и «Эммой»), подошла ближе и посмотрела на них из-за вуали темных волос. Они с явным удовлетворением стали рассматривать ее. Их руки, свисая до самой земли через прогнувшиеся подлокотники кресел, потянулись друг к другу: одна — смуглая до черноты, другая — белая и ухоженная.

— Почему? — спросила Эмили.

— Что «почему», милая? — переспросил Артур. — Как живописно ты смотришься на фоне роз, когда ветер развевает твои волосы. Не двигайся — я тобой любуюсь.

— Почему, скажите, неподвижная Материя — это женское, а животворящий Нус — мужское?

— Потому что земля — наша Мать, она рождает все прекрасное: и деревья, и цветы, и тварей.

— А Нус, Артур?

— Потому что мужчины забивают свои неразумные головы понятиями, добрая половина которых — химеры и небывальщина, и оттого

впадают в ересь.

Артур не умел дразнить. Говорил серьезно, убежденно, точно читал лекцию.

— Это не ответ, — настаивала она, заливаясь краской.

— Потому что женщины прекрасны, малышка, а мужчины — всего лишь поклонники красоты; потому что женщины — воплощение доброты, которой переполнены ваши милые сердца, а мы, жалкие мужчины, понимаем, что где-то есть истина, и ищем ее, дабы укротить свое воображение, лишь ощущая вашу добродетельность.

— Это не ответ, — повторила Эмили.

— Женщине ни к чему забивать всем этим свою милую головку, — начиная утомляться, ответил Артур.

Альфред мечтал о чем-то; его длинные черные ресницы были покойно сомкнуты. Руки друзей расслабленно свисали с подлокотников, касаясь земли, а пальцы молча указывали друг на друга.

VIII

Огонь в камине угасал; Мопс уснул, он храпел и фыркал но сне. Аарон не спал — сгорбившись и уставив на хозяйку черный мерцающий глаз, он бочком подобрался ближе к ней. «Никогда», — мрачно пошутила миссис Джесси, обращаясь к птице, и, опустив руку в кожаный мешочек, достала еще кусочек мяса. Устремив на него взгляд, ворон приблизился к ней и раскрыл клюв. Жареное, но по краям красное, как рана, мясо со скользкой бахромой жира скрылось в клюве, вновь появилось, ворон перехватил его поудобнее и за один присест проглотил. Мышцы на его шее задергались. Птица встряхнулась и уставилась на нее, ожидая добавки.

— Какие у тебя острые кривые когти, — сказала ворону миссис Джесси, пальцем касаясь его головы, — ты исцарапал все стулья в доме. Ни стыда, ни совести. Мы с тобой оба такие стали старые, жесткие, потрепанные.

В них воспитывали благородство души. Обида и злоба — неблагородные чувства, и Эмилия надеялась, что в ней их нет. Но ей все время не

давало покоя то, что Альфред своим трауром умалил, принизил ее траур. И не просто принизил, — говорила она себе в минуты трезвой откровенности, — уничтожил, свел на нет. Ведь это она, Эмилия, падала в обмороки, это она целый год была заточена, погребена в своем горе, это она заставила плакать друзей и родственников, выйдя к ним в черном, с белой розой в волосах, как нравилось ему. Альфред не пришел на похороны, он снова начал писать, устраивать свою жизнь, а она лежала в постели в боли и муке. Она помнила, как лежала, уткнувшись в мокрую, насквозь мокрую от слез подушку. Помнила свои распухшие веки, беспокойный сон и ужасные пробуждения, когда к ней возвращалась реальность утраты. Горькая тоска по несчастному Артуру, его ясному уму, его молодому телу, его нравоучениям, по его влечению к ней поселилась в ней, а вместе с ней — ужас перед пустым будущим. Она стыдилась этих мыслей и неистово гнала их от себя прочь, но по ночам, когда сознание теряло бдительность и она просыпалась, она открывала глаза в мертвенном лунном свете, а они толпою вновь лезли в голову.

Сказочный Сомерсби Альфреда, райский сад Артура, дремучий лес, домашний очаг, смех и пес-

ни — все пропадало, если не было рядом творцов этой сказки. С приходом долгой зимы мир менялся (и до Артура он был другим, а после его смерти стал совсем другим): у юной девушки не было ни возможности поездить по свету, ни подходящего занятия, ни праздников, чтобы скрасить скуку, оставалось только ожидать замужества или оплакивать умершего возлюбленного. Ей очень хотелось выйти из дому, но, будучи, как всякая женщина, созданием противоречивым, она страшилась показаться на людях, так что, когда наконец Теннисоны собрались в гости, в дом на Уимпол-стрит, туда отправились Альфред и Мэри, а она, невеста, затаилась в тиши Сомерсби, стесняясь провинциального покроя своего платья и линкольнширского акцента и страдая от настоящей, физической боли в печени и приступов гипертонии; болезнь уложила ее в мягкую и уютную, как гнездышко, постель, согретую горячими голышами; ее отпивали вкусным бренди с водой, она читала Китса и книги, что прислал ей Артур: «Ундину», на которую, по его словам, она была похожа, и «Эмму» мисс Остин, «книгу испито женскую (не хмурьтесь, мисс Фитч, я и не думаю насмехаться), — только женщина и леди способна мастерски передавать мельчайшие детали

и обладать столь тонким сарказмом». Как она болела все свои юные годы, какие трогательные письма писала старику с Пустошей,[48] своему деспотичному деду, который лишил отца наследства и у которого приходилось выпрашивать деньги, она молила его прислать денег, чтобы поездить по Европе или отдохнуть на минеральных водах, может быть, ее отпустит болезнь, может быть, маленькая веселая компания развеет ее черное отчаяние. Но дед был неумолим, и она никуда не выехала из Сомерсби, любимой своей темницы. Колики были очень болезненны. Она свертывалась калачиком, пряча свой распухший, нежный животик. Ей представлялось, что она Прометей в женском облике и к ней прилетает огромный черный орел и терзает ее печень; хищная птица выпивала из нее жизнь. Ей стоило больших усилий заставить себя выйти на улицу, но на лужайке ее одолевало головокружение — вокруг нее словно трепетали тысячи крыльев, они хлопали и свистели, в глазах мельтешило, в ушах звенело. Миссис Джесси вспомнила, как полвека назад стояла вот так, покачиваясь, а затем ощупью добиралась в спальню, где ее ждала

[48] Примечания: 48

Так называют англичане холмистую равнину Йоркшира и Линкольншира.

надежная постель, где свет был не таким ярким. Артур обещал ей избавление от одиночества и болезни, избавление желанное и пугающее. В каждом письме он сетовал по поводу ее недомогания, ласково спрашивал о здоровье, просил поскорее поправиться, набраться сил, бодрости, веселости и уверенности в себе.

«И потому, Эмили, — тем более что я свято чту свою любовь к тебе, — какие бы ни нашел я в тебе недостатки, они не ослабят, но, напротив, возбудят и возвысят ее. Ибо твои недостатки происходят от переутомления и излишней чувствительности, которая, в силу обстоятельств, замкнута в себе, и недостатки твои представляются мне даже достоинствами, ведь ты смиренно в них исповедуешься и прилагаешь усилия к их исправлению».

По иронии судьбы его кончина способствовала тому, что не могло случиться при его жизни. После его смерти она вышла из своей темницы, стала появляться в обществе. Ее радушно принял старый Галлам, она подружилась с Эллен, сестрой Артура, и писала ей о своем лишенном поэзии окружении, наслаждаясь неведомыми ранее уверенностью и сарказмом:

«Знай же, что таких столпов, как Вордсворт,

Кольридж и др., не встретишь в наших краях — ничто не украшает наши черные пустоши; здесь только холодный ветер и люди с холодной душой. Иногда охотник торопливо пройдет через сад, но согласись, что эти люди, без колебаний отнимающие жизнь, — даже хуже, чем ничего».

Она писала, что в лесах у Сомерсби соловьи не поют, выражая сомнение в том, что они водятся у них:

«Выводят ли уже соловьи свои нежные трели? Ты ошибаешься, полагая, что в Сомерсби они есть, — этих птиц у нас и не видывали. Лишь однажды в Линкольн залетел одинокий соловей и какое-то время распевал в огороде бедняка. Разумеется, посмотреть на него и послушать пение собрался народ со всей округи. Хозяин скоро заметил, что зеваки топчут его овощи

("Растил капусту он,
И в должный срок,
Срезал ее и щи варил")

и осмелился — неслыханное варварство! — подстрелить безрассудного певца. Гадкий, тугоухий мужик! — стоят ли все кочаны на свете одного соловья!»

С Эллен она могла и посмеяться, на что из стра-

ха, из любви, из сознания своего несовершенства не решалась при Артуро. Она оживлялась — робко, постоянно помня о своем горе — за обеденным столом у Галламов, где однажды вечером на нее обратил внимание молодой, высокий лейтенант Джесси. Десять лет она оплакивала *его*, оправдывалась Эмили. Живого Артура она знала только четыре года, из которых провела в его обществе не больше месяца. И девять лет его оплакивала. Она надеялась, что Галламы войдут в ее положение, будут снисходительны; зная, сколь глубоко их горе и как они уповали на Артура, она, конечно же, не рассчитывала, что они обрадуются ее замужеству. И они, по крайней мере старый мистер Галлам, остались к ней безукоризненно великодушны, по-прежнему выплачивали ей пенсион, к которому она уже привыкла и который считала собственным небольшим доходом; они не прервали с ней отношений, хотя Джулия нехорошо отзывалась о ней за глаза. «Она считает меня бессердечной кокеткой или хуже того — продажной женщиной», — твердила себе Эмили, когда на миг бешенство одолевало в ней обычное смирение. Их отношения сделались натянутыми, в них проникло раздражение. Теперь она часто отговаривалась вежливыми фразами (в чем Тен-

нисоны никогда не были сильны) в тех случаях, когда прежде скромно и всем на радость шутила. Но Теннисоны по-прежнему окружали и поддерживали ее своей тоскливой любовью, окружали и душили ее своим молчаливым и неумолимым недовольством.

У нее хватило духу противостоять Галламам, хотя для этого ей часто приходилось усилием воли выкидывать их из головы, притворяться, что они не существуют. После свадьбы они с мужем поездили по свету; она побывала во взбудораженном Коммуной Париже, бродила по горным тропкам в Апеннинах, во Флоренции навестила Браунингов. Она общалась с самыми разными людьми в Лондоне, и, хотя вела себя несколько эксцентрично, неровность ее поведения, по ее мнению, очаровывала окружающих. Она умела смешить и увлекаться беседой. Но все же — вспоминала она в часы мрачных раздумий — ей было не под силу терпеть болезненные уколы и тайные обиды, которые ей причинил шедевр Альфреда, памятник Артуру — поэма «In memoriam». Но, видит Бог, она обожала и обожествляла эту поэму, как и другие читатели, ибо она словно отражала ее собственные потрясения и тоску, описывала каждую стадию и оттенок долгой

душевной муки, трансформацию ее горя — так же медленно разрастается плесень, так корни и слепые черви проникают в могилу. Поэма выражала многое: тоску по умершему, по крепкому дружескому рукопожатию, по ясным глазам и голосу, по высказанным и невысказанным мыслям. Она превращала маленькую лужайку перед домом, море и пустошь, окаймленную ровным линкольнширским горизонтом, в непреходящий, бесконечный мир. Она обращалась к Богу, и ужасалась Его деяниями, и сомневалась в них. Поэма поселилась в глубине ее сердца и влилась в кровь ее тела, «бездумной путаницы нервов». Как же устала она быть путаницей нервов! Но Альфред еще восемь лет оставался замкнут в своем горе, упивался им. Она вышла замуж за Ричарда в 1842 году, и в тот год ее траур закончился.

Альфред продолжал горевать и писать стихи. Он работал и предавался мрачным мыслям с того дня, когда пришло страшное письмо, и почти до самой свадьбы; лишь в 1850 году его отшельничеству наступил конец, и тогда же он выпустил в свет «In memoriam». На титульном листе не значилось его имя — только посвящение Артуру: «In Memoriam А.Г.Г.» Альфред сохранил верность другу, она — нет. На свадьбе он был спокоен и

скрытен, лишь, как обычно, что-то бормотал, а затем вновь сел за свои ужасные, гнетущие стихи, словно не стихи писал, а вел подробный дневник, в котором рассказывал об утрате, смятении и неутолимой тоске по другу.

Эмили чувствовала, что поэма — укор ей. В первый раз она прочитала ее не так, как читала ее потом, не так, как жена или сын, друг или враг романиста читают его новый роман, листая страницы и отыскивая самих себя: кружевной воротничок особого фасона или тайный порок, который, как они надеются, автор успешно умалил, завуалировал. Она прочла ее с любовью и слезами на глазах, как она читала все стихотворения брата, — она плакала по Артуру и из-за неземной красоты этой поэмы. Когда-то в Сомерсби юные женщины образовали тайный поэтический кружок, который назвали «Мякина»: во время страстных споров они как бы вышелушивали из мякины семя поэзии. Следуя совету Артура и Альфреда, они читали «чувствительные» стихи (Артур утверждал, что это он возродил в языке важное слово «чувствительный»). Стихи Китса, Шелли, Альфреда Теннисона. Высшей похвалой стихотворению считалось, если его признавали «острым», то есть волнующим, будоражащим,

страстным. Иногда Эмили Джесси, в отличие от робкой Эмили Теннисон тех дней, задавалась вопросом: что же побудило их назваться таким сухим, безжизненным именем? Ведь что такое мякина — шуршащая оболочка вокруг спелого зерна. Они читали с любовью, она читала (и сегодня еще способна была читать с любовью) «In memoriam». Она была уверена и убеждала других, что это — величайшая поэма их времени. Но поэма метит огненными стрелами ей в самое сердце, — думала она, когда ее одолевала тоска, — поэт задумал уничтожить ее, — и она мучилась при этой мысли, но не смела поделиться ею ни с одной живой душой.

В строках поэмы являлся время от времени ее призрак. Она узнала себя уже в шестом стихе, где говорится об утонувшем моряке: Альфред ждет возвращения Артура и сравнивает свое ожидание с юной девой, «голубкой робкой, что беды не чает». «Бедняжка ждет его любви», подбирает ленточку, розу, чтобы порадовать его, подходит к зеркалу «и поправляет завиток», не ведая, что любимый, ее «будущий владыка»:

Иль утонул, минуя брод,
Или, упав с коня, убился.

Увы, нам утешенья нет.
Что нам сулила с ним разлука?
Ей девство вечное, а мне —
Остаток дней прожить без друга.

Это были ее локоны, ее роза, только волосы у Альфредовой «голубки робкой» не воронова крыла, а золотые. Артур однажды сказал ей, что голос ее сладок, как пение Дамы из Комуса[49] («И ворона полночной тьмы ласкает песнь ее, и тьма улыбкой просияла»); он говорил и ласкал ее буйные локоны. Вопреки упованиям Альфреда, она оказалась не готова к «девству вечному». И тогда удивительным образом Альфред — возможно, так велела ему чуткость поэта — сам преобразился во вдову Артура:

И наш союз казался мне
Супругов парой неразлучной,
О ты, в бескрайней тайне сущий,
Жених и муж души моей.

И еще:

Но сердцу вдовому любить

---

[49] Примечания: 49
«Комус» — пастораль Джона Мильтона (1634).

Былое только не под силу.
Оно желает с сердцем милой
Стучать согласно, рядом быть.

Альфред привязал к себе Артура, проник в его плоть и кровь, не оставив ей ничего. И хотя в поэме упоминалось о ее любви и ее утрате, это мучило ее, жестоко мучило. Фантазия Альфреда рисовала будущее Артура, его детей, не родившихся племянников и племянниц, в которых могла бы смешаться кровь друзей:

Уж близился счастливый миг.
Слить наши жизни, кровь смешать,
Дыханье твоим детям дать
Он мог. Уже ребят твоих
Я нянчил в мыслях. Но могила
Флер в черный креп, в тоску веселье
И в саван брачные постели
Без сожалений обратила.
И нерожденных чад твоих
Я и ласкаю, и балую,
Своими крошками зову их
Не наяву — в мечтах моих.

Эти нерожденные чада с жутким упорством вмешивались в ее жизнь и жизнь ее сыновей, названных в память об усопших — младший, Юстас, носил имя покойного сына дядюшки Чарлза, а старший, Артур Галлам Джесси, — имя Артура. Но все сложилось наперекор ее чаяниям. Ангельские личики нерожденных чад были дороже и милее всем (и ей самой в минуты горечи), чем земная, беспокойная мордашка Артура Галлама Джесси, хотя он вырос красивым мальчиком. И так как он был живым напоминанием того, что ее «девство вечное» не состоялось, она испытывала при нем неловкость и понимала, что он принимает ее неловкость за равнодушие. Об Артуре Джесси поэт не упомянул ни слова, зато в эпилоге воспел брачную церемонию, утверждая победу жизни над смертью и призывая грядущую душу, «отстав от горней пустоты, телесный облик обрести». Ее странный брак Альфред обошел молчанием, а воспел супружество ее сестры Сесилии и Эдмунда Лашингтона, который в университетские годы входил вместе с Артуром и Альфредом в кружок «апостолов»:

Достойный, мощный, он высок.
Свободомыслый, цельный, чуткий.

Он поднимает груз науки
Словно легчайший василек.

В другой строфе эпилога он вспомнил и об их любви с Артуром:

Лишь раз, когда чуть-чуть несмело
Мне дорогой поведал друг,
Что любит он мою сестру, —
Душа вот так от счастья пела.

Разумеется, он не смог так же звучно, так же талантливо воспеть ее брак, бывший за пару месяцев до бракосочетания Сесилии. Однако он просто умолчал о нем, словно она и не выходила замуж, словно она не произносила слов брачного обета, словно душа А. Г. Г. не могла обрести достойного жилища в ее детях.

Уж близится заветный миг.
На плиты мертвые ступая,
Живым внимает молодая
Словам, что шепчет ей жених.
— Согласен ли? — Он молвит «Да».
— Согласна ли ты? — Да. — Во имя…
Муж и жена они отныне

И до скончанья плоть одна.
Быть может, здесь, среди других
Незримый гость пирует с нами.
Беззвучно шевеля губами,
Он поздравляет молодых,

— тем не менее писал он.

Она тоже любила Сесилию. Покойные дети сестры приходили из мира духов и говорили с ней голосами Софи Шики и миссис Папагай. Сесилия была счастлива в супружестве, но ее первенец Эдмунд, к которому взывал Альфред, умер тринадцати лет от роду; медленно текли годы, и вслед за мальчиком ушли в могилу его сестры — Эмили в девятнадцать и Люси в двадцать один год. Смерть детей искалечила жизнь бедной Сесилии. Но и Сесилии, доброй и добропорядочной Сесилии, не удалось полюбить ее Ричарда; после одного из его визитов она выразила опасение, что он «зачастит» к ним. Как моряк, Ричард удивлял всех полным и естественным отсутствием страха, а в обществе он удивлял полным равнодушием к чувствам других, не замечал ни раздражения другого, ни сдержанности. Он без умолку говорил о том, что думает и чувствует сам, будто всем было уютно и просторно, а солнце светит всем

одинаково ровно и ясно, где все вокруг было таким, каким виделось, — чем приводил людей в бешенство. Так, во всяком случае, думала Эмили, когда ей хотелось разобраться в других. Но чаще ей это было совсем не нужно.

Она замкнулась в себе, в своей эксцентричности, в своей старой драме, в неусыпной заботе о Мопсе и Аароне.

Если бы не бесстрашие Ричарда, «девство вечное» могло стать ее уделом, и тогда бы ее все превозносили и лелеяли. Нет, она не тотчас полюбила Ричарда, как полюбила тогда, в Волшебном лесу, великолепного Артура. Артур назвал ее «трепетным цветком» и сказал, что она, «как Ундина, создана из материй более тонких, чем земной прах». Ричард сидел напротив нее в темной, обитой панелями столовой Галламов, застыв, будто некий джинн обратил его в камень: тяжелые серебряные нож и вилка застыли на полпути от жареного цыпленка к его рту, он смотрел отсутствующим взглядом в одну точку, словно — поделилась она с ним позже — решал про себя трудное уравнение. Кто-то спросил:

— О чем вы задумались, мистер Джесси?

А он ответил просто:

— Какая живая и красивая при свечах мисс

Теннисон. В жизни не видел лица интереснее.

— Хороший комплимент, — заметил кто-то. Это была Джулия Галлам, а сказала она это с издевкой, подумала Эмили Джесси и припомнила, как сама опустила глаза в тарелку, испугавшись, что слишком широко улыбнулась или как-то иначе обратила на себя внимание.

— Это вовсе не комплимент, — возразил Ричард, — это правда. Чистая правда.

И снова погрузился в созерцание. Соседи мысленно посмеивались, а его цыпленок совершенно остыл, и в конце концов все были вынуждены дожидаться, пока он доест жаркое. Вечером Эллен и Джулия стали расспрашивать Эмили: «Как это тебе, дорогая, удалось покорить этого разиню гардемарина?», и Эмили прыскала с ними, говоря, что и в мыслях не имела кого-то покорять. Но ей пришлось по душе восхищение Ричарда — могло ли быть иначе? — хотя он выразил его так неловко. Ей было приятно, когда однажды на Уимпол-стрит он догнал ее и пошел с ней в ногу, сознаваясь в том, как нелегко ему приходится в Лондоне, и поминая родной Девоншир. Он поддерживал ее под локоть широкой и твердой рукой, а у дверей библиотеки, в которую она шла, сказал на прощанье:

— Мне жаль, что я так смутил вас за обедом, мисс Теннисон. Честное слово, жаль. Я не подумал. Со мной такое бывает: скажу, а потом приходится объясняться, вытаскивать себя из лужи и недоумевать, как это я умудрился в нее сесть. Но я сказал сущую правду: я восхищаюсь вами, к тому же я не делаю дамам комплиментов. У меня мало знакомых женщин, и, сказать начистоту, до сих пор я был к ним довольно равнодушен. Но вы мне нравитесь.

— Благодарю вас, мистер Джесси.

— О ради Бога, к чему этот надменный вид, зачем вы смущаетесь? Ведь я не сказал ничего оскорбительного. И почему никто не понимает простых вещей? Я всего лишь хочу сказать, что восхищен тем, как вы одолели горе…

— Боюсь, что не одолела и никогда не одолею.

— Я хотел сказать… не то, чтобы «одолели», нет, это слово не подходит. Но вы такая живая, мисс Теннисон, и вы вдыхаете жизнь в других, одухотворяете.

— Благодарю вас.

— Вы по-прежнему не понимаете меня. Я не собирался так скоро открыться вам, но что поделаешь — я лечу вперед без оглядки, точно северный ветер, и уже не могу остановиться.

Случалось ли с вами: увидев человека впервые, вы почувствовали, что он вам близок… вот так, сразу. Вокруг вас люди, у которых носы пуговками и глаза-смородины, и люди, величавые, как римские статуи, — и вдруг вы видите живое лицо, для вас оно живое, и понимаете, что это близкий человек, что он часть вашей жизни, — случалось с вами такое?

— Однажды, — ответила Эмили, — однажды случилось.

А может быть она заблуждается? Они стояли на улице и смотрели друг на друга. Доброе, дружелюбное лицо Ричарда хмурилось — он был озадачен, не понимая, почему не сумел объяснить ей то, что ему самому было предельно ясно. Он неловко пошевелил руками — то ли хотел отдать честь и удалиться, то ли обнять ее — и отступил.

— Я не стану давить на вас, мисс Теннисон. Прощайте. Надеюсь, мы еще обо всем поговорим и… ведь вас не оскорбляет моя неуклюжесть? Если я прав, нам будет что друг другу сказать; если ошибся, мы это скоро поймем и без обид, хорошо? Ну а пока до свидания, мисс Теннисон. Рад был с вами повидаться.

И он быстро зашагал прочь, а она осталась и не знала, смеяться ей или плакать.

Он продолжал ухаживать за ней с завидным упорством и совсем не замечал, что его ухаживание вызывает насмешки. Он приглашал мисс Теннисон в музеи и парки, а за обедом сидел, едва помещаясь на стуле, ухватив неловкими пальцами фарфоровую чашку, слушая, как Галламы оплакивают несостоявшееся великое будущее Артура, кивая со знанием дела, и во все глаза смотрел на Эмили. И Эмили поглядывала на него из-за локонов, все таких же густых и блестящих. Его продолговатое лицо казалось Эллен и Джулии пустым и туповато-приветливым, тогда как Эмили в первую очередь обратила внимание на его доброе выражение. Ричард Джесси совсем не умел злиться, и потому насмешки в его адрес казались ей жестокими. Рассмотрев его как следует, она поняла, что он притягивает ее и как мужчина. У него были красивые брови, красиво очерченные губы. Высокий торс и длинные упругие ноги были изящными и сильными. Сила чувствовалась и в его руках; пусть чашка со звоном ездила у него по блюдцу, но во время шторма, — теперь ее уже интересовала его жизнь, — они, несомненно, намного ловчее управлялись с корабельными канатами. Она внушала себе, что он человек действия, а не ритор, и сравнивала его с моряками из

книг мисс Остин. Артур прислал ей «Эмму»; она любила этот роман, но больше всего она любила (хотя и втайне) «Доводы рассудка», рассказ о женщине уже не первой молодости, одинокой старой деве, которая влюблена в морского капитана. Героиня говорит: «Я полагаю единственное преимущество нашего пола в том (это преимущество не завидное, не стоит мечтать о нем), что, когда нет уже любимого, когда иссякла уже надежда, мы не перестаем любить!»

Он сделал ей предложение у Галламов, не смутившись, что в этом доме жил Артур, что девушка, которой он предлагает руку и сердце, сидит в том темном кожаном кресле, в котором сидел ее жених. Над головой нависали мрачные, кожаные переплеты исторических книг мистера Галлама.[50] С улицы, «долгой и нелепой» Уимпол-стрит (здесь Альфред с бьющимся сердцем лелеял несбыточную надежду вновь пожать руку друга, «которой не пожать, увы, вовек»), заглядывало в комнату зимнее солнце. Ричард подтащил стул, проскрежетав им по навощенному полу, и подсел к Эмили поближе. Она так крепко стиснула колено руками, что Артурово кольцо впилось

[50] Примечания: 50
Генри Галлам, отец Артура, был известный английский историк.

ей в палец.

— Я хочу попросить вас кое о чем, — начал Ричард Джесси. — Мне неловко наедине с вами, и меня угнетает мысль, что в любой момент сюда могут вернуться хозяева. Поэтому я буду краток — не смейтесь, коли дело не терпит отлагательства, я бываю краток и действую очень быстро, когда корабль натыкается на мель или поднимается буря…

— Забавная метафора, — заметила мисс Теннисон и, склонив на плечо голову, взглянула на него. — Значит, мы сели на мель, нам грозит крушение?

— Никак нет. Ну вот, опять та же история. Ведь вы понимаете, о чем я? Я хочу просить вас стать моей женой. Не спешите с ответом, он мне известен. Но я уверен, что со мной вам будет хорошо. И мне с вами тоже. Вы не из тех, с кем легко жить; еще бы, у вас очень неровный характер, вас все пугает, с вами на каждом шагу приключаются трагедии, и, говоря откровенно, вам не хватает *серьезности*. Но мне кажется, мы подходим друг другу и нужны друг другу. Наверное, вам, члену семьи Теннисонов, претит выслушивать мои речи. Я так коряво говорю. Нескладно, — исправился он.

Она собралась было отвечать.

— Не надо, — сказал он, — не отвечайте. Сейчас вы скажете «нет», а я этого не вынесу. Пожалуйста, подумайте, поразмыслите над моими словами, и тогда вам станет ясно, что мы отлично друг другу подходим. Ради бога, мисс Теннисон, подумайте… обо мне.

Эмили была тронута. У нее готова была короткая, почти искренняя речь о том, как страстная любовь опустошает человека. В ней даже была строчка из Донна: «Но после вот такой любви любить еще во мне нет сил». Ей так казалось. Она в это верила. Но капитан Джесси накрыл ее руки большой ладонью и приставил к ее губам указательный палец:

— Не надо, не отвечайте, — сказал он. Ей недостало сил поднять руку и отстранить палец. Она хотела возмутиться, но, когда пошевелила губами, получилось так, словно она поцеловала этот огромный указательный палец. Негодуя, она широко открыла глаза и устремила взгляд в его глаза, пристальные, голубые, решительные. Она хотела сказать: «Вы берете меня на абордаж, как пират», но палец помешал ей. Она рассерженно помахала головой. Волосы взметнулись по плечам. Дерзновенной рукой он взял одну прядь.

— Чудные. Красивей я не видывал.

— Какой же вы глупый, — Эмили была встревожена, потрясена, — ведь мне уже за тридцать. Я не молоденькая. Любовь осталась в прошлом, и я уже смирилась с незамужней жизнью. Я… разучилась чувствовать.

— Ничего подобного.

— Все эти годы я была как каменная. Любовь меня обескровила. Я не хочу больше любить.

— Ничего подобного. Да, вы не молоденькая девушка. Вы старше меня, будем откровенны, — мне об этом известно. Юные девицы утомительны: все только порхают, суетятся, у них в голове одна романтика. А вы, мисс Теннисон, вы истинная, зрелая женщина. Вам нужен муж. Быть старой девой, доброй тетушкой — не ваш удел, я знаю это, я внимательно за вами наблюдал. Конечно, вы решили смириться со своей участью, но ведь вы не подумали обо мне. Ведь вы не ожидали, что я сделаю вам предложение?

— Правда, — пролепетала Эмили, — не ожидала.

Черная, жестокая часть ее души стремилась уязвить его необоснованную самоуверенность, поставить на место, высмеять, обидеть его. И в то же время ей хотелось принести ему радость

и защитить от унизительных насмешек других людей, которые он так спокойно пропускал мимо ушей.

— Со смертью Артура, мистер Джесси, на мое сердце была наложена печать. Я любила его всем сердцем, а он умер. Такова моя история. И больше любить нам не суждено — ни мне, ни ему.

— Нет ничего страшного в том, что вы любили его, — возразил Ричард Джесси. — Ваша преданная любовь к нему — лишнее доказательство тому, что вы способны любить и хранить верность, как и я сам, пусть пока мне не выпадало случая доказать вам это. Если вы выйдете за меня, мисс Теннисон, мы не забудем его, пусть ваша любовь к нему живет. Я чту вас, чту за то, что ваша любовь так глубока и неизменна.

— Не потому ли вы хотите жениться на мне? Не из-за него ли? Быть может, вам кажется, что я заслуживаю жалости, — ведь вы так добры, вы очень добрый. Но только спасать меня не надо.

— Черт возьми, что значит «спасать»? Неужели вы совсем меня не понимаете? Выслушайте меня внимательно — вместе нам будет уютно, я чувствую это всем своим нутром, всем сердцем, нервами, даже печенкой, если хотите.

Она молчала. Он продолжал:

— Я умираю от желания обнять вас. Уверен, вы *почувствуете*, что вам это нужно. Эти чертовы стулья, этот книжный хлам — они вам мешают. Давайте прогуляемся по берегу, послушаем чаек — и вы поймете меня… сейчас я немного не в себе, я почти не спал последнее время и довел себя до этого… до такого состояния; изо дня в день я выматываюсь сильнее, чем в бою.

— Не могу, — прошептала она.

— Если не можете, если вы в этом уверены, повторите еще раз — и я сию же минуту уйду и больше мы не увидимся. Вы понимаете меня? Верите мне на слово? Я действительно исчезну. Если вы — в самом деле — способны сказать мне, что не хотите — не можете — не согласны, я уйду. Я никогда не попадусь вам на глаза, как бы тяжко мне это ни было. Вы слышите меня?

— Не кричите так, мистер Джесси, вы всполошите всех.

— Да что за дело нам до всех! — забывшись, воскликнул он.

Эмили (которой, как бы то ни было, понравилась его дерзость) резко встала, словно намереваясь распроститься с ним, но не вымолвила ни слова и не сдвинулась с места. Она стояла и молчала. Он шагнул к ней, он был даже выше

ее братьев, такой же красивый и смуглый, — и своими большими руками обнял ее за плечи. Потом оторвал ее от пола, прижал к груди и нежно прильнул щекой к ее щеке. Его руки и тело говорили ей о многом, он притягивал ее как магнит, он был крепкий, словно дерево, да, — заговорил в ней поэт, — таким же крепким и полным жизни, какими летом бывают деревья. И она склонила ему на плечо голову и вслушалась: их сердца громко стучали, кровь волновалась.

— Вы меня задушите. Мистер Джесси. Мне нечем дышать.

— Ответьте мне немедленно…

— Пустите. Я согласна. Нет сил вам противиться. Пустите же. Дайте мне стать на ноги.

— Мне хочется рычать, как лев, — довольно спокойно проговорил он. — Но у нас все еще впереди; вот поженимся и тогда — будем делать что душе угодно.

— Этого я не обещаю, — вдруг насторожилась Эмили, оказавшись, наконец, на ногах.

Разумеется, им не удалось жить, как «душе было угодно», но в их супружеской жизни было много такого, чего ей не довелось бы испытать, останься она «старой девой и доброй тетушкой», любимицей Галламов. Да, она предвидела, как воспримут

ее отступничество Галламы, но не ожидала, что оно так ужаснет Теннисонов и общество, вызовет такое неодобрение. В ночных кошмарах они являлись к ней, гневные, оскорбленные, и бросали ей в лицо горькие упреки. Но на их стороне стояла еще девушка в черном с белой розой в волосах, как нравилось ему. Всю жизнь тебя преследуют и осуждают не только те, кого ты любила и кто уже умер, — думала она иногда, — тебя осуждает и твой собственный неумолимый дух.

IX

Софи Шики в белой ночной сорочке стояла перед зеркалом. Она неотрывно смотрела на свое отражение, и отражение так же неотрывно взирало на нее. Зеркало, привинченное к сосновому сундуку, отражалось вместе с нею в большом туалетном зеркале у двери за ее спиной так, что она видела позади себя свои бесчисленные отражения, раз за разом уменьшавшиеся и уходившие в никуда. Она прикоснулась пальцем к фиолетовым теням под широко раскрытыми глазами, и все зеркальные двойники повторили этот жест. Она дотронулась до губ, наклонилась к зеркалу и дохнула на него — все ее лица затуманились, сероватые туманы окутали ее, светлые волосы обрамляли туманные овалы этих лиц. У нее были, казалось, бесцветные волосы, однако назвать их так было бы неверно, просто их оттенок не поддавался определению: их ни с чем нельзя было сравнить — ни с цветом мышиной шерстки или серых голубиных перьев, ни с цветом пшеницы или сена; их нельзя было назвать ни металлическими, ни золотыми, ни бронзовыми, но при

этом цвет ее волос был самым обычным, самым распространенным. Когда чего-то очень много, то можешь считать, и вовсе нет. Она была повсюду и нигде. Она вглядывалась в свои зрачки — в бесконечные бархатисто-черные пустые кружочки глаз Софи Шики — и мир вокруг исчезал, а с ним — она сама.

Однажды она загипнотизировала себя вот так и стояла, окаменев, у зеркала, широко открыв незрячие глаза, пока ее не начала искать и не обнаружила миссис Папагай. Она прижала ее к своей большой и теплой груди и, когда Софи, вздрогнув, очнулась, не понимая, что случилось, закутала ее в одеяло и принялась отпаивать бульоном. В груди миссис Папагай, как нежный маленький дрозд в своем гнезде, таилось теплое сердце. И почувствовав его трепет, Софи без страха вернулась в этот мир. В детстве подобные опыты, бывало, заканчивались плачевно. Она научилась выходить из своего тела еще малюткой, и это получалось у нее так естественно и просто, что казалось, все другие люди способны проделывать это с такой же легкостью, с какой они пьют воду, пользуются ночным горшком или моют руки. Она задерживала дыхание или, лежа в постели, быстро, ритмично выгибалась

и вновь расслабляла мышцы — взмывала к потолку и тихо парила там, покойно созерцая сверху недвижную, мертвенно бледную оболочку своего тела, саму себя с приоткрытым ртом и сомкнутыми веками. Но ее нетерпеливая мать с шершавыми руками, похожими на щипцы для колки орехов, всегда так резко возвращала ее на землю, что потом еще с месяц ее изнуряла рвота и она едва не умирала от истощения. Тогда Софи стала остерегаться и научилась уходить и возвращаться в подходящее время.

Сзади до нее доносился беспрестанный шелест и шорох, словно комнату заполонили птицы. Это шумело в ушах от усталости, и все же, если повернуться, увидишь белые крылья. Мысленно она видела золотоглазых голубей, целую стаю голубей; они сидели повсюду: на изголовье кровати, на подоконнике, — и охорашивались. У них были розовые лапки, такие хрупкие, такие голые, такие шершавые; одни важно расхаживали, другие обнимали узкую опору, лапки сжимались и расправляли коготки. Скоро среди шороха и шелеста она расслышала тихое воркованье. Если сейчас повернуться, увидит ли она белые крылья? Ей было неведомо, воображение это, или она почувствовала присутствие птиц и наделила их

зримой оболочкой, или, быть может, в комнате на самом деле были голуби. Ей стало ясно, что, как ни старайся, она не умеет заменить голубей попугаями, устрицами или, например, розами. Голуби не зависели от ее воображения. Они ворковали друг с другом на разные голоса: одни звучали успокаивающе, другие раздраженно, третьи надменно, четвертые умиротворенно.

Всматриваясь себе в глаза, она спросила, но спросила не себя: «Ты здесь?»

Она все время, задавала ему этот вопрос, и часто ей казалось, что молодой человек рвется к ней, она ощущала за спиной его незримое присутствие, как теперь чувствовала голубей, как чувствовала других пришельцев, которые иногда вползали, просачивались, входили в ее спальню. Ей казалось, он жаждет прорваться в этот мир, жаждет установить с людьми контакт (с тех пор как она сделалась медиумом, она стала употреблять профессиональные выражения). Не испытывай она перед ним такого сильного страха, он уже давно сумел бы прорваться к ней. Она чувствовала, что он где-то очень далеко, что ему холодно, что он заблудился в чужом мире и одинок; но, с другой стороны, почему этот беспорочный юноша должен страдать от холода,

как мог он заблудиться? — скорее всего, он умеет спускаться с Небес, о которых столько рассказывает всезнающий мистер Хок. Ей хотелось помочь ему, открыть перед ним врата в мир людей, но он не появлялся. Вот и сейчас вместо него только холодный поток воздуха, только пустота, отделяющая ее от теплых птиц, безмятежно занятых чем-то, и она снова позвала: «Ты здесь?»

И ей показалось, что ей ответили утвердительно.

Она и в детстве умела вызывать духов. Вызывала персонажей сказок и легенд: несчастного слепого Принца, возлюбленного Рапунцели,[51] библейского убиенного Авеля, вызывала мальчика по имени Микки, который оставался ее самым близким другом, пока она не познакомилась с миссис Папагай. Микки являлся ей в разных обличьях: временами она просто ощущала рядом его присутствие, иногда она наделяла его телом темнокожего цыганенка, иногда он приходил в облике кого-нибудь из знакомых, которого она каждый Божий день встречала на

[51] Примечания: 51

Рапунцель, героиня одноименной сказки братьев Гримм. Старая колдунья, мачеха Рапунцели, наслала на ее возлюбленного проклятье, и, упав в терновник, он выколол себе глаза. В конце сказки Рапунцель возвратила юноше зрение, оросив его глазницы слезами.

улице. Он усаживался на краешек туалетного столика и барабанил по нему ногами, у него часто бывал сломан ноготь или поцарапана губа. Он приходил наяву. Иногда почти наяву, и тогда усилием воли она втягивала его в реальность. Она разговаривала с ним, и он ее понимал, но сам все время молчал. Бывало, вместо Микки или другого желанного гостя являлись незваные, нежданные пришельцы: сердитая девочка, которая безутешно вопила, или холодный исполин с синей щетиной и выпученными глазами, который силился схватить ее, но почти совсем ее не видел, она это чувствовала. Пришельцы являлись из разных миров. Изредка, всего раз пять или шесть, перед ней представали плотские существа, вроде утонувших родственников ее бывшей хозяйки, с которыми она беседовала за столом, или полной дамы в Кримондском лесу, отчаянно искавшей часы, которые обронила, или сынишки уличного торговца, которого насмерть затоптала лошадь (он поведал ей, что очень скучает по старому Беляку и что не надо винить коня в его смерти, потому что тот взбесился от боли в копыте). До сих пор ни одно такое телесное существо не являлось на их сеансах, так что либо общими усилиями спириты заставляли дух принять

зримые очертания, либо, уступая ее страстному желанию помочь, ей на миг являлись смутные призраки, едва постижимые чувствами и умом обитатели других измерений, вроде сегодняшнего бутылкообразного существа с кипящими глазами. Впервые видение было столь живым и ярким, но все же ему недоставало плотности. Софи расчесывала волосы, а голуби шуршали перьями и ворковали. Как ей хотелось отыскать среди мертвых жениха миссис Джесси, найти для миссис Папагай ее капитана! Но сила ее желания почему-то отталкивала духов. Существа и духи приходили в расслабленный, пустой мозг, избегая напряженного внимания. И все же сейчас она чувствовала, что он где-то рядом. Возможно, он ждет в холодной пустоте, что образовалась между нею и голубями. Она не знала, как Он выглядит, но представляла его бледным, с золотыми кудрями, греческим ртом и широким, бугристым лбом (про «шишку Микеланджело» она слышала от миссис Джесси и прочитала в «In memoriam»). Однажды миссис Джесси заявила, что на одной фотографии, сделанной в Бристоле, различимы его очертания, но, тщательно рассмотрев размытый силуэт в высокой шляпе за спиной миссис Джесси, Софи смогла разглядеть лишь чье-то

белое как мел лицо и черные глазные впадины. Это мог быть кто угодно, но Мэри, сестра миссис Джесси, подтвердила, что и чертами лица, и осанкой человек на фото поразительно походит на Артура, каким он ей запомнился.

Иногда ей удавалось добиться необходимого — туманного и парящего — настроя, читая про себя стихи. До сеансов в доме миссис Джесси ее почти не интересовала поэзия, но теперь ее тянуло к стихам, как уточку к воде, — это была вполне уместная метафора, ибо Софи плавала в поэзии, погружалась в ее мощный поток, поэзия поддерживала ее. И во многих других домах сеансы часто начинались со стихотворного призыва к умершим. Одной из поэм, которые чаще всего читали для зачина, была «Блаженная дева» Данте Габриела Россетти.[52] По всеобщему мнению, поэма была прекрасна и печальна: одинокий ангел, опершись на парапет небесного дворца, смотрит призывно вниз, а вокруг Блаженной девы стоят, обнявшись, пары счастливых любовников, и нет ни слезинки в их глазах; каждая пара — две слившиеся половинки одного ангела

[52] Примечания: 52

Данте Габриел Россетти (1828–1882) — английский поэт и художник. Автор нескольких сборников сонетов («Стихи, баллады и сонеты», «Дом жизни»), переводов из Данте.

супружества (это особенно подчеркивал мистер Хок, считая, видимо, что Россетти был интуитивным сведенборгианцем). Душа Софи напоминала реку: в ее глубине неслись мощные, управляемые течения, а на поверхности ходила рябь обыкновенной женской сентиментальности. Глядя на свое отражение, она видела Деву: ее белую розу, «Мариин дар»; ее пшеничные волосы, ее грудь, от тепла которой нагрелись перила дворца. Глядя на миссис Джесси, раздражительную и едкую, она тоже видела страстную деву, но чувствовала в ней еще что-то кошачье, что-то колючее. А Дева Россетти гипнотизировала ее, иногда в буквальном смысле. Это был путь «туда». Он знал нечто такое, что было известно ей. Неотрывно глядя в глаза своего отражения, она начала читать строки о Небесном дворце:

> *Дворец тот словно мост: под ним — эфирная струя,*
>
> *В ее бездонной глубине — граница тьмы и дня,*
>
> *Там мошкой надоедливою вертится земля.*
>
> *Влюбленных пары вкруг нее в объятиях сплелись,*

Чуть слышные, из чистых уст слова любви лились,

А снизу искры новых душ под Божью длань неслись.

Померкло солнце, в глубине, как перышко, повис,

Мерцая, завиток луны, — она смотрела вниз,

И в тишине, как пенье звезд, слова ее лились:

«О, скоро ль он ко мне придет? Я знаю, он придет…»

Софи, обхватив себя руками, тихонько — словно лилия на стебельке, как змея перед заклинателем — раскачивалась взад и вперед. А волосы в такт движениям приподнимались и ниспадали с плеч. Она читала негромко, чисто и выразительно. Она читала и видела искры душ и перышко луны; она чувствовала, как, кружась, покидает тело; она словно прильнула к окуляру гигантского калейдоскопа, внутри которого, среди вертящихся пушистых хлопьев, снежных кристаллов, целых миров, кружится и крошечная блестка ее лица. Издалека она услышала свой голос:

Нет, не придет. Все время ждать
Устала я, устала.
Молю Его мне смерти дать…

То были строки из другой поэмы. Читая их, она вся окоченела. Чтобы согреться, она крепче обняла себя; холодная грудь легла на холодный выступ рук, мизинцы впились в ребра. Она была уверена, почти полностью уверена, что сквозь шорох голубиных перьев за спиной слышит чье-то дыхание. Стихи шелестели на разные голоса. Боль холодной сосулькой пронзила ей грудь. Внезапно по стеклу сильно, с короткими перерывами, начал барабанить град, а может, дождь, словно кто-то швырял в окно пригоршни семян. Воздух в комнате вдруг потяжелел, пустота сделалась весомой — так бывает, когда стучишься в чью-то дверь и еще до того, как раздадутся на лестнице шаги, а в прихожей шорох и позвякивание, уже точно знаешь — дома кто-то есть. Она не должна была оборачиваться и, чтобы отвлечься, стала нараспев читать роскошные строки «Кануна святой Агнессы»:[53]

Свеча клонила пламень голубой,

---

[53] Примечания: 53
Поэма Джона Китса (1795–1821). Пер. Е. Витковского.

В лучах луны скользил дымок лениво.
Девица дверь закрыла за собой,
Молчанье соблюдая терпеливо;
Но сердце… сердце стало говорливо,
Стучит в груди лилейной все сильней,
—
Так бьется, умирая от надрыва,
В орешнике зеленом соловей,
Внезапно онемев пред гибелью своей.

Кто-то вздохнул у нее за спиной, втянув воздух в легкие. Софи неуверенно заговорила:

— Мне кажется, ты здесь. Не мог бы ты показаться?

— Понравится ли тебе мой облик? — послышалось в ответ или, быть может, прозвучало в ее голове.

— Это ты?

— Тебе может быть неприятен мой облик.

— Мне не свойственны ни пристрастность, ни предубеждение, — услышала она свой ответ.

Она взяла свечу и поднесла ее к зеркалу — суеверное чувство, что она не должна оглядываться, чувство, знакомое и Маделине,[54] и госпоже ост-

---

[54] Примечания: 54
Героиня поэмы Джона Китса «Канун святой Агнессы».

рова Шалот,[55] все еще владело ею. Пламя свечи то рассеивало мрак в глубине зеркала, то он вновь сгущался. Ей показалось там какое-то движение.

— Но мы не всегда можем побороть свои чувства, — теперь он говорил гораздо более отчетливо.

— Прошу, — прошептала она зеркалу.

Она почувствовала, что он подходит к ней, все ближе и ближе. Хриплый голос заговорил насмешливо словами поэмы:

Он вплелся в сон ее — так запах нежный

Вливает роза в аромат фиалки;

Благоуханна ароматов смесь.

Ее рука дрожала, лик за ее спиной то бугрился, то разглаживался, менял черты и выражение. Лицо не было бледным — на нем вздувались багровые вены; синие глаза смотрели не мигая, тонкие губы над нежным подбородком были сухи и потрескались. Вдруг ее обдал сильный запах, но то не был аромат розы или фиалки, то был дух прели, разложения.

---

[55] Примечания: 55

Госпожа острова Шалот — героиня одноименной поэмы А. Теннисона (1832). Она не должна была отрывать взгляда от зеркала и смотреть в сторону Камелота, но нарушила запрет и умерла.

— Теперь ты видишь? — проговорил он тихо и хрипло. — Я мертвец.

Софи Шики набрала в грудь воздуха и повернулась. Она увидела свою белую кроватку, голубей на чугунном изголовье, заметила, что на подоконнике примостился ало-синий попугай, она увидела темное оконное стекло и — его. С отчаянным упорством он старался удержать свое непрочное тело в границах очертаний, не дать себе расплыться.

Она сразу же поняла, что он тот, кого она ждала. Не потому, что знала его в лицо, но потому, что его описывали именно так: эти кудри, эти узкие губы и шишка на лбу. На нем была старомодная рубашка с высоким воротником: этот фасон устарел, когда ее мать была еще девочкой, — и брюки, запачканные землей. Он стоял перед нею мрачный и дрожал, но дрожал нечеловеческой дрожью: его тело раздувалось и съеживалось, словно его сначала накачивали воздухом, потом воздух выпускали. Софи подошла ближе, вгляделась. На его бровях и ресницах засохла земля. Он повторил:

— Я мертвец.

Он побрел прочь — так ходит человек, только что вставший на ноги после продолжительной

болезни, — и присел на подоконник, спугнув стайку белых голубей. Птицы вспорхнули и уселись под занавеской. Софи вновь приблизилась и пристально посмотрела на него. Он был совсем юным. Те, кто любил его, кто ждал и чаял повидаться с ним, считали его мудрым божеством, а на самом деле он был даже моложе ее. Казалось, его новый жребий отнял у него все силы. В Новоиерусалимской Церкви ей рассказывали, что Сведенборгу приходилось встречать недавно умерших; они не желали верить в свою смерть и с любопытством и негодованием взирали на собственные похороны. Причина их беспокойства в том, учил Сведенборг, что в иной мир с ними возносятся мысли и чувства, принадлежавшие земному миру. Пройдет время, и они обретут свое истинное Я, найдут среди духов и ангелов своих истинных супругов, свою половину. Но сначала они должны осознать свою смерть и примириться с ней.

Она спросила:

— Как ты? Как ты себя чувствуешь?

— Как видишь. Меня угнетают немощь и смятение.

— Люди оплакивают тебя, скорбят по тебе. Больше, чем по кому бы то ни было.

Багровое лицо исказилось от муки, и Софи Шики нутром почувствовала, что его терзает людская скорбь. Она угнетает, душит его, тянет назад. Отвыкшим от человеческой речи, тяжелым языком он проговорил:

— Я все скитаюсь. Между двумя мирами. За их пределами. Всего не объяснить. Я принадлежу пустоте. Я немощный и смятенный, — членораздельно и быстро добавил он, будто за долгие годы выучил эти слова, словно все время он неустанно приручал их. Но, возможно, долгие годы не казались ему долгими. «Чреда веков в глазах твоих — один короткий миг».

Она искренне пожалела его:

— Ты такой юный.

— Да, юный. И мертвый.

— Но тебя все помнят.

Снова мука исказила его черты.

— Но я так одинок.

Он жалел себя, как свойственно молодым.

— Как мне помочь тебе? Он нуждался в помощи.

— Обними меня, — ответил он, — обними, если можешь. Мне холодно. Вокруг темнота. Обними меня.

Софи Шики застыла, вся побелев.

— Не можешь.

— Я хочу.

Она легла на белую постель. Он неуверенно и неуклюже приблизился и лег рядом, положив свою зловонную голову на ее холодную грудь. Она закрыла глаза — так было легче. Он был тяжел, тяжел, словно живой, но не дышал и лежал недвижно — то была мертвая тяжесть, тяжесть говяжьей туши. «От этого можно умереть», — мелькнула мысль, и по глади ее души, ужаснувшись черной глубины, разбежалась рябь. Но глубинные воды не принимали ее, держали на плаву их обоих, Софи Шики и молодого мертвеца. Холодными губами она коснулась его кудрявой головы. Но почувствовал ли он поцелуй? Хватит ли у нее тепла, чтобы согреть его?

— Успокойся, — словно капризному ребенку, сказала она ему.

Он положил ей на плечо подобие руки, и ее обожгло холодом.

— Поговори. Со мной.

— О чем? О чем мне говорить?

— Назовись. Прочти из Джона Китса.

— Меня зовут Софи Шики. Я могу… могу тебе прочитать «Оду соловью». Хочешь?

— Прочти ее. Прочти.

— От боли сердце замереть готово,
И разум — на пороге забытья,
Как будто пью настой болиголова,
Как будто в Лету погружаюсь я.[56]

— Да, он понимал ее. Он понимает, что такое чувствительная любовь к красоте. Я помню. Помню, что подарил ему это слово. «Чувствительный». Это мое слово. Нет, не «чувственный» — «чувствительный», — сиплый голос прервался и вновь возвысился: — О, если б жить не разумом, а чувством! Но ничего не осталось. Во мне не осталось ни разума, ни чувства, Софи Шики. Пистис София. Стихи суть духи чувств, Пистис София, духи мыслей. Стихи живут в душе, милая; стихи — это и мысли и чувства, союз мыслей и чувств. Мне тепло на твоей груди, Пистис София. Я отогреваюсь, как окоченевшая змея. Гностики утверждали, что змею в райском саду поселила Пистис София.[57]

— Кто такая Пистис София?

---

[56] Примечания: 56

Джон Китс. Ода соловью. Пер. Е. Витковского.

[57] Примечания: 57

Пистис София (греч. pistis — вера, sophia — мудрость), согласно учению гностиков (I–V вв. н. э.), — божество, которое Верховный Бог породил последним. Из запретного желания Софии познать Творца родился злой бог, демиург, создавший нашу вселенную.

— Разве ты не знаешь, милая? Это ангел. Она жила в саду прежде человека. Чувствительная любовь к красоте. Китс и Шелли были юны. Я любил их за то, что они были так юны. Читай дальше. «Когда во мраке слушал это пенье». Мрак.

— Я в смерть бывал мучительно влюблен,
Когда во мраке слушал это пенье,
Я даровал ей тысячи имен,
Стихи о ней слагая в упоенье;
Быть может, для нее настали сроки
И мне пора с земли уйти покорно,
В то время как возносишь ты во тьму
Свой реквием высокий, —
Ты будешь петь, а я под слоем дерна
Внимать уже не буду ничему.

— Я чувствую, что чувства умерли во мне, — прошептало существо, лежащее в ее объятиях. Он становился все тяжелее. Дышать было совсем трудно.

Софи Шики перевела дух:

— Но ты, о Птица, смерти непричастна

—

Любой народ с тобою милосерд.[58]

Гость вздохнул. Ледяная струя коснулась ее уха.

Не соловей то — амальгама
Тьмы, ликованья и печали,
Страданья, смерти и бессмертной
Любви, что протянулась трелью
Сквозь время и вовне пространства.

В середине комнаты вырисовалась длинная, смуглая, старческая рука. Наугад, неумело рука застегивала ночную рубашку. Софи разглядела пуговицы: они были застегнуты неправильно. Рука беспомощно возилась с ними. И вдруг, словно ощутив холод, исходивший от них, прижала скомканную рубашку к груди.

— Но «амальгама тьмы, ликованья и печали», — повторил в ухо Софи холодный, глухой голос. — Хорошо, правдиво написано. Я предвидел, что он сравняется величием с Китсом, — так Кольридж разглядел в Вордсворте величайшего после Мильтона поэта. За это я и любил его, верь

---

[58] Примечания: 58
Пер. Е. Витковского.

мне, Пистис София.

— Я верю тебе.

— Не вижу… не вижу. София, я ничего не вижу… а ты видишь?

— Не очень отчетливо. Вижу смутно руку. И старика в ночной рубашке… в его комнате горит свеча. Он поднес руку к лицу и… он нюхает ее. У него борода, растрепанная, с проседью… у рта она в желтых пятнах. Красивый старик. Я его знаю…

— Я ничего не вижу, — толстые, холодные пальцы коснулись ее ресниц, он словно пытался на ощупь увидеть то, что видит она. — Он стар, и я не вижу его. Что это? Я чувствую запах его табака. Раньше он, бывало, утопал в облаке ароматного табачного дыма, а потом от него пахло остывшим пеплом, табачным перегаром… Чем он занят?

— Он сидит на постели и разглядывает руку. Словно в недоумении. И очень красив. И чуточку рассеян.

— Я должен бы слышать его мысли. Но не слышу.

X

Да, Альфред Теннисон почувствовал движение. В комнате сделалось вдруг абсолютно покойно, и закололо кожу — Альфред обыкновенно говорил об этом ощущении так: «Ангел ступает по моей могиле», отлично сознавая, что смешивает два поверья: говорят, что застольная болтовня смолкает за полчаса до или после того, как над людьми беззвучно пролетит ангел, и что человек испытывает вещий трепет, если кто-то топчет землю, которую однажды, в неизбежный час, разроют, чтобы погрести его бренные останки. Ему показалось также, будто кто-то пристально смотрит на его руку, и, словно необычного зверька, он поднес ее к глазам. Пальцы были длинные, смуглые и все еще сильные. Рука не была ни полной, ни пухлой, хотя однажды он случайно услышал едкое замечание Эмили Джесси: якобы он с самой свадьбы для себя и пальцем не пошевелил. Кое-где на пальцах были бурые пятна от курения. Он опасался, что, того не замечая, распространяет вокруг себя крепкий табачный дух. Запах табака уже до смерти не выветрится

из его носа — вот так же для конюха любой запах пропитан теплыми парами конского волоса и пота, конской мочи и навоза. Запах был приятным, пока, так сказать, жил; остыв, он был уже не столь хорош. «Как ночью столп огненный, сначала он свеж и благоуханен, — подумал он, — и как днем столп облачный,[59] он остывает, превращается в холодный прах, в табачный перегар. Хорошо это сказано — «табачный перегар»». Может быть, это очень дурной запах? Он понюхал пальцы. В ушах звенел рой живых слов — они не оставляли его ни на миг, обволакивая голову, словно облако из живого остывшего дыма, как пылинки, что играют в солнечных столбах; красивый эпитет нашел он для этих столбов — «густопыльные».

— Дай руку поцелую я тебе, — донеслось до него. И он отозвался:

— Вытру сначала, у нее трупный запах.[60] Или нет, не словами Лира, а словами леди Макбет? Никакие ароматы Аравии не отобьют этого запаха у этой маленькой ручки.[61] Или строкой из

---

[59] Примечания: 59
Исх., 1.3, 21.

[60] Примечания: 60
Уильям Шекспир. Король Лир. Пер. Б. Пастернака.

[61] Примечания: 61
Уильям Шекспир. Макбет. Пер. Б. Пастернака.

Джона Китса: «Когда рука, мой теплый писарь, в могиле будет тлеть»?[62] Или вспомнить строки, еще более обескураживающие:

Рука живая, теплая, что пылко
Способна сжать, — застынь она в безмолвье
Могилы ледяной — тебе бы днем
Являлась, ночью мучила б ознобом,
И сердца кровь ты б отдала, чтоб жилы
Мои наполнить алой кровью вновь
И совесть успокоить, — вот, гляди, —
Я протянул ее тебе?[63]

Артур прочитал ему это жуткое восьмистишие в их спаленке в Сомерсби, когда они лежали на своих белых постелях, а вокруг висел мрак и в окно несмело пробивалась луна.

«Стоит жить, — воскликнул восторженно Артур, — если пишешь такие стихи, когда смерть уже заглядывает в глаза! Как благородно выразил

---

[62] Примечания: 62

Строка из поэмы Джона Китса «Падение Гипериона» (1819). Пер. В. Потаповой.

[63] Примечания: 63

Джон Китс. Падение Гипериона. Пер. В Потаповой.

поэт свое презрение ей!»

В поэме, посвященной Артуру, он создал свой образ мертвых рук. И гордился им: безжизненные руки обрели обманчивую жизнь:

Те руки, что в своих сжимал я,
Запутались в траве морской.

Руки волнуются, как водоросли, колышутся, словно обломки корабля, мертвые члены раскачиваются вместе с морем — этот ритм удачно запечатлелся в его стихах. Вспоминая Артура, он ярче всего представлял себе его руки. Сорок лет миновало — и все эти годы воспоминание о крепком рукопожатии друга таяло, оплывало, как свеча. Он взглянул на свои старческие пальцы, потрогал их. Кожа на сгибах суставов сделалась удивительно гладкой и лоснилась; линии жизни стерлись, зато морщины избороздили и губы, и лоб. Раньше он хорошо помнил теплую Артурову ладонь, его сердечное рукопожатие. Да, крепкое рукопожатие свело их вместе, и до поры они были вместе. Мужское, энергичное рукопожатие заменяло им нежное прикосновение. Пожатие при встрече и на прощание. И после того страшного письма он еще долго мучился: его рука тосковала по дружескому рукопожатию. Эта мука тоже по-

родила чудные, просто чудные стихи. Он получал сотни писем с отзывами:

«Скажу Вам, сэр, что и мне привелось испытать чувство, о котором Вы пишете: „И я, не обнаружив в нем ни перемен, ни тени смерти… не буду этим удивлен“. Знаете ли Вы, что Ваша чуткость приносит утешение и покой?»

Такое чувство владело им первое время после смерти друга, когда душа и тело еще не могли постичь то, что мгновенно воспринял ум. И ему виделись корабль, ставший на якорь, и сходящие по трапу пассажиры:

И коль средь прочих с корабля
Ко мне мой полубог сойдет,
Внезапно руку мне сожмет
И спросит, как у нас дела,
То я, не обнаружив в нем
Ни перемен, ни тени смерти —
Лишь друга прежнего, поверьте,
Не буду этим удивлен.

Он точно описал свои чувства, но то было давно и давно миновало. День за днем воспоминание об Артуре умирало в его теле и душе — так медленно погибает дерево: клетка за клеткой, веточка за

веточкой. Первое время после смерти Артура внезапное воспоминание о друге, каком-нибудь его нетерпеливом жесте или его живом взгляде было для Альфреда сущей пыткой. Позже, когда телесный облик друга начал размываться в памяти, Альфред, как будто назло себе, пытался удержать его, воплотить в слова свои воспоминания, увидеть незримое:

Не различаю ясно черт,
Когда на мраке тщусь писать
Лицо родное…

И Фредерик, и Мэри, и Эмили призывали духов прошлого, но он бежал от этого из страха и отвращения: из страха поверить в лжесвидетельство своего слабого мозга, из отвращения к мрачной неестественности спиритизма. «Тебя я боле не увижу», — повторял он решительно страшные слова, убеждая себя в безвозвратности утраты. За могильной чертой, считал он, еще возможен союз бесплотного духа со светом, духа с духом, но, пока он жив, его тоскующей руке суждено сжимать только пустоту.

Однажды на лужайке перед домом они с Артуром день-деньской беседовали о природе вещей, о сотворенном сущем, о любви, искусстве, чувствах

и душе. Рука Артура покоилась на теплой траве среди маргариток, рядом с его рукой. Артур рассуждал о чувствительном воображении Китса, творившем красоту; Китс говорил, что воображение подобно Адамову сну, в котором праотцу привиделось, будто Бог творит из его окровавленного ребра жену, и «когда проснулся, увидел, что это так». Артур говорил, а Альфред представлял себе Адама, не Мильтонова, но Адама Микеланджело:[64] вялую руку человека оживляет разряд энергии, электрическая искра, изошедшая из Божьего перста к его пальцу. Артур восхитился дерзостью мысли поэта, силой и правдой этой мысли. «О, если б жить не разумом, но чувством!» — воскликнул он тогда.

Светило солнце. Артур начал читать чудное письмо Китса:

«Называется оно „Видение Юности“, таким мне представляется наше будущее… И это соображение тем сильнее убедило меня (оно пришло на помощь, когда я размышлял об ином предмете, который часто увлекает меня), что и после всего нам суждено испытывать счастье, с тою лишь разницей, что оно будет утонченнее

[64] Примечания: 64

Фреска Микеланджело «Сотворение Адама» украшает потолок Сикстинской капеллы.

земного».

Артур заговорил о Данте и Беатриче и о том, как чувствительно автор «Божественной Комедии» описал небо: «Биение земной любви в поэзии и Китса, и Данте, таких непохожих друг на друга, мы, безусловно, должны принимать как короткое прозрение, короткое предвидение или предчувствие обоими любви Божественной; как ты считаешь, Альфред?»

А он полулежал в скрипучем кресле, его рука свисала до земли, и он представлял себе рай, любил Артура и чувствовал такой прилив счастья, счастья такого большого и несвойственного мрачноватым Теннисонам, что лишь улыбался, и согласно мычал, и слушал пение летучих слов, разрозненных атомов своего будущего творения.

Микеланджело любил мужчин. И он сам не однажды говорил Артуру как бы в шутку, что любит его, как Шекспир любил Бена Джонсона — «этот род любви», — они оба находили в шекспировских сонетах строчки, которые могли бы дарить друг другу в знак любви и благодарности. Он знал, что они порхают вокруг «бесплодного» огня и жар не обожжет им крыльев, но знал и об ужасных домыслах, родившихся в людских умах после того, как в поэме, написанной в память об

Артуре, он раскрыл и до мельчайших штрихов описал боль утраты и тоску по другу. Отцу Артура претила их любовь. После смерти Артура, когда Альфред еще не решался показать миру свое творение, тот написал уничижительную статью о сонетах Шекспира:

«Очевидно, сегодня многие (в особенности же молодежь поэтического склада) склонны преувеличивать достоинства этих замечательных произведений… Над привязанностью к женщине, не задевшей сколько-нибудь серьезно ни сердца, ни ума поэта, но и не угасшей совершенно, возобладала привязанность к другу; и она носит столь восторженный характер, столь неумеренно поэт выражает ее, что смысл этих сонетов совершенно затемняет непостижимая тайна. Я согласен, у поэзии и прозы ранних веков был более пылкий и чувствительный язык для выражения дружеских чувств, чем в новые времена и сегодня, однако мы не находим в произведениях тех лет другого примера, если бы обнаружилась такая же всепоглощающая страсть, то обожание, которые величайший человек изливает в своих сонетах на некоего безымянного юнца… И пусть сонеты исполнены великолепия, все же известное недоумение значительно умаляет удовольствие

читателя, и мы неизбежно сожалеем, что Шекспир написал их».

Генри Галлам уничтожил письма Альфреда к Артуру. Альфред прекрасно понимал, чего боится и что подозревает отец Артура, но ни разу ни выражением лица, ни тоном не выказал беспокойства, не выдал своей осведомленности. Он был смолоду научен скрывать свои чувства, облекать собственное и чужое недовольство в непроницаемый туман. В течение восьми лет он, словно напуганный осьминог, выпускал чернильную струю в глаза дорогой Эмили. Он не высказал ни малейшего раздражения в ответ на то личное послание, которое обнаружил в высокомерной отповеди сонетам, и только неустанно твердил всем, что сонеты благородны. Сейчас он прятался под двойным покровом: рассеянности и многозначительности гения и плотным куполом людского почтения — случилось так, что он сделался кумиром своего Времени. Но однажды он был молод, и критики, высмеивая его неосторожные откровения, доставляли ему много горечи. Так, описав в стихах их «милый чердачок», их «белые и мягкие постели», он подверг себя насмешкам. Лишь только поэма увидела свет (вышла она анонимно, поскольку

Альфред не пожелал ставить на титуле свое имя), как некий критик заметил, что поэт извел «немало дешевого витийства» на «какую-то пастушку из Канцелярии[65]». Старая присоленная рана от той шпильки еще отзывалась живой болью, в ней было больше жизни, чем в меркнущем воспоминании об Артуровом рукопожатии. Несмотря на успех и всеобщее признание, он до сих пор, слыша в свой адрес резкую критику, кривился точно от острой боли. Другой обозреватель предполагал, что стихи написаны женщиной: «Только необъятное сердце вдовы какого-нибудь вояки могло породить столь трогательные строки». Все так, все верно, он постоянно называл себя вдовой Артура, но только в духовном смысле, ибо овдовела его душа, его *анима*. Более того, он считал, что в каждом великом человеке уживаются оба пола. Сын Божий Христос (следуя Артуровой «Новейшей Теодицее» — предмет Божественной Любви и Страсти Создателя) сочетал в себе мужское и женское начала, поскольку был Воплощением Бога: мужские начала — Мудрость и Справедливость присутствовали в нем наряду с женскими — Жалостью и Милосердием. Он полагал, что и

[65] Примечания: 65
Верховный суд Великобритании до 1873 г. (суд лорда-канцлера).

они с Артуром обладали женскими ипостасями («в высоких душах — жалость частый гость»[66]), и оттого и поэтическая их чувствительность, и мужественность отнюдь не умалялись, но возрастали.

Но кое-что его ужасало и отталкивало. Как ужасало и отталкивало и Артура. Он считал, что сам критик втайне склонен к этому пороку, обвинив его, Альфреда, в страсти к «пастушке из Канцелярии». Как-то раз он остроумно заметил, что мужчинам положено быть андрогинными, а женщинам — гинандринными, но не наоборот. Он даже сочинил эпиграмму «На женоподобного господина»:

> *Раз мы ущербными, мой милый, родились,*
>
> *Блаженны те, в ком «м» и «ж» слились;*
>
> *Но различать меж ними есть причина:*
>
> *Мужчина-женщина — не женщина-мужчина.*

«Точно подмечено, — думал он, — и написано ладно. Эпиграмма как леденец: вот его нет, а вот он уже на языке, круглый, гладкий, приятный».

---

[66] Примечания: 66
Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказы. Пер. О. Румера.

Ему отлично известно, что люди принимают его за наивного старикана. Они стремятся ему угодить, ограждают от разочарований. А между тем он таит в себе больше, чем высказывает, — только так и можно жить в эти пуритански-чопорные времена; время, породившее его, было куда менее наивным. Они с Артуром были наслышаны о, мягко говоря, «наклонностях» одного их кембриджского знакомца, изящного Ричарда Монктона Милнса — его интерес к красивым мальчикам был постоянно на устах и у самого Милнса. От Артура он знал, какие страсти побуждают Вильяма Гладстона[67] рыскать по ночному городу в поисках тех женщин, хотя после тот мучительно каялся. «Чувственный человек», — говорил о Гладстоне Артур. Гладстон влюбился в великолепного Артура еще в Итоне, Альфред полюбил его в Кембридже. Артур не был чувственным. Он любил романтично, возвышенно. В поэме были о нем такие строки:

Вкусил любви умом одним,
Живящей влаги не испил…,

---

[67] Примечания: 67

Вильям Гладстон (1809–1898) — английский политический деятель, с 1868 г. лидер Либеральной партии. В 60 — 90-е годы неоднократно становился премьер-министром Англии.

— и Альфред верил, что не ошибся насчет друга; верил, что, шагни тот, образно говоря, через порог воображения в любовь плотскую, он бы узнал об этом.

Сам он не был человеком страстным. Его чувственность, так сказать, распространялась на все сущее, смешивалась с ним — проникала в крохотные лопающиеся почки, волновалась вместе с морем. Первое любовное соитие, — он толкнул пуговицу в прорезь, отстегнул ее, нащупал другую и снова не ту, — есть ли смысл думать об этом теперь, слишком много времени прошло, Эмили уже долгие годы инвалид. Он считал, что его жизнь удалась. Он испытывал полноту чувств и радость семейной жизни. Он подозревал, что у других жизнь была богаче ощущениями, но и то, что пережил он, было приятно и устраивало его. И он был уверен, что и Эмили устраивала ее жизнь. Если говорить откровенно, в тот день на лужайке они с Артуром испытывали особую радость любви: через пальцы они словно обменивались душами, упрочали общность помыслов и духовную близость, подтверждали друг другу общее ощущение, что они друзья во веки веков — им не надо было узнавать, изучать друг друга, как прочим. Но значит ли это, что они были подобны

таким, как Милнс? Нет, они любили друг друга, как Давид и Ионафан, — то была дивная любовь, любовь к женщине уступала ей в силе. И это при том, что библейский Давид страстно любил женщин (чтобы завладеть Вирсавией, он послал Урию на верную смерть) и среди героев не было равного ему мужеством. Неуравновешенные, мятущиеся души тянулись к холодному совершенству Артура, к его изящной сдержанности и самодостаточности. Альфред знал, что Вильям Гладстон до сих пор завидует его былой близости с их общим кумиром. При встречах они оба испытывали неловкость, но все же тянулись друг к другу, их объединяла общая великая утрата, оба были самыми выдающимися людьми своего времени. Гладстон был Давидом нового времени. Но Артур полюбил его, Альфреда. Однажды Артур показал ему черновой ответ на письмо Милнса — тот в свойственной ему бурной манере умолял Артура разделить свою дружбу исключительно с ним. Это было, кажется, в 1831 году. Бедному Артуру оставалось жить меньше двух лет. Он протянул письмо Альфреду и добавил:

— Быть может, дурно показывать письмо, адресованное другому. Но ты все же прочитай его, Алли, я хочу, чтобы ты прочитал мой откровен-

ный ответ Милнсу. Не надо ничего говорить, любые замечания будут неуместны. Ты только прочти, а я запечатаю письмо и отошлю, и будь что будет. Надеюсь, ты одобришь мою откровенность.

«В том высоком смысле, который ты, мой дорогой Милнс, вкладываешь в слово „дружба“, мы с тобой никогда не были и не станем друзьями. К тому же я не тешил себя такой надеждой и не давал повода тебе на что-то уповать. Я отнюдь не насмехаюсь (упаси Боже!) над этим возвышенным чувством, но и не считаю его чем-то несбыточно-идеальным: оно знакомо мне и владеет мной сейчас, но — прости, мой дорогой Милнс, что говорю не обинуясь, — это чувство не к тебе. И однако существует неисчислимое множество оттенков симпатии; воистину удел человеческий был бы жалок, если бы с безоблачных небес нам светило только тропическое солнце».

Их взгляды встретились.

— Ты понимаешь меня, Альфред? Понимаешь, о чем я? Да, он все понял. В своей поэме он написал: «Тебя любил я, Дух, люблю. Шекспир сильней любить не мог бы», — и это была истина.

Он сел на кровать и вновь взялся возиться с

пуговицами, пытаясь правильно застегнуть рубашку. Ноги мерзли и покрылись мурашками; ему было знобко в ночной рубашке, он дрожал. Собственное тело внушало ему страх и жалость, словно он — какой-нибудь туповатый вол, обреченный на убой, словно крупный, лукавоглазый кабанчик — он похрюкивает, не подозревая, что спустя миг лезвие взрежет его необъятную глотку. Когда он был моложе и смерть Артура была свежа в памяти, каждая клетка его тела кричала о неестественности такого исчезновения. Теперь, состарившись, он понял, что это было от юношеской веры в свое бессмертие, в то, что его полуденная сила никогда не иссякнет, что рука и поступь всегда будут твердыми и уверенными, а дыхание легким — теперь же каждое движение давалось с трудом. Он шагал к небытию (короткому, верил он), и с каждым шагом его тело требовало большей заботы, и он уже привык смотреть на него как на самостоятельное живое существо. И с каждым шагом все сильнее становился страх, что он просто сгинет, как животное. В юности они пели в церкви о своей вере в воскресение тела и жизнь вечную. «Наверное, было время, — думал он, — когда все христиане, не сомневаясь, ликуя, верили в то, что

при звуке последней трубы их тела возродятся из частиц праха, осколков костей, истлевших волос, но сейчас люди в это не верят, и им страшно». Как-то в юности он гулял по Лондону, и его пронзила мысль, едва не повергшая его без чувств наземь: через сто лет все *до одного* жители этого огромного города будут лежать в могиле. Теперь люди видели то же, что видел он: земля нашпигована мертвечиной: обломками ярких перьев, обугленными мотыльками, разорванными, искромсанными, изжеванными червями, косяками некогда сверкающих, а ныне зловонных рыб, чучелами попугаев, тигровыми шкурами, вяло скалящимися у очага, горами человеческих черепов вперемешку с черепами обезьян и змей, ослиными челюстями и крыльями бабочек — все перемешивалось, обращалось в перегной и пыль, пожиралось, отрыгивалось, носилось по ветру, мокло под дождем, становилось частью чужой плоти. Такой была явь, такой была «кровавозубая» природа — все только пыль и прах; но люди верили в другой мир, говорили, что верят, пытались поверить. Ведь, не будь у них веры, какой же смысл во всем, чего стоили бы жизнь, любовь, добродетель? Дорогую Эмили ужасало, что он смеет сомневаться. В поэме он отдал должное

неколебимости ее веры:

Ты говоришь (но без презренья),
Ты, чьи глаза исходят мукой
Над тонущей в кувшине мухой:
«Сомненье — дьяволово семя».

Он восхищался тем, как Артур боролся с сомнением:

Умолк певец. Он чист был, верь,
Пусть знал сомненье в полной мере:
В сомненье честном больше веры,
Чем в миллионе ложных вер.

Не жалость, другое чувство мучило его самого при виде тонущей мухи. Вот живая муха, вот она бьется и жужжит — и вот она уже мертва. У мухи есть тело, и в теле жизнь, она кружит вдоль кромки кувшина, жужжит — и вот она ничто. Неужели то же случилось с Артуром, из которого жизнь ключом била? Если бы он мог предвидеть смерть друга, ясно представить себе его телесную смерть, он не сумел бы любить его, они не смогли бы друг друга любить. Это убеждение родилось не в его мыслях, а под пером. В отличие от Артура он не был мыслителем. Если бы от убедитель-

ного доказательства зависела самая его жизнь, и тогда он не сумел бы ничего доказать. Он не умел выдвигать аргументы, не умел защитить своей точки зрения. В кружке «апостолов» он не блистал яркими идеями; он украшал камин, отпуская робкие шутки, читал стихи и внимал панегирикам в честь своего великого дарования, которое, кажется, лишь отчасти можно считать его собственным. Но он разобрался в любви и в смерти, в этих безжалостных абстракциях, пока писал поэму; избрав для нее лженаивную форму, незамысловатую, простенькую песню-плач, на ощупь постигая себя и мир — мысль текла за мыслью, чувство сменялось чувством, рифма догоняла рифму, начиналась новая строфа, и медленно, но верно он шел к прозрению. От абстрактной персонифицированной Любви он добрался до голой животной чувственности:

И если некто мне шепнет:
«Нас время сушит и сгибает,
А Смерть останки забирает.
Надежда ж в прахе не живет»,

Я все ж пытаться стану вновь,
Пусть на короткое мгновенье,

Свою Любовь отнять у тленья.
Но чу! — Я слышу стон и рев

Бездомных волн и гул ручьев,
Что крепость гор в песок стирают
И основанье полагают
Для будущих материков.

И молвит мне Любовь моя:
«То Леты плеск. Мой зов он глушит,
Бескровит он меня и сушит,
И я умру, умру и я».

К чему слова? Да буде б только,
Влюбляясь, мы страшились смерти,
Любви не стало бы на свете,
Или она бы стала горькой,

Как Смерть сама; иль в буйстве оргий
Она б валялась и скакала,
Давила б грозди, травы мяла
В полях сатиром козлоногим.

Сделавшись знаменитостью, он взял в привычку (особенно после изрядной порции портвейна) говорить, не всегда к месту, афоризмами. Он с

удовольствием произносил (а друзья, гости и его любящий сын поспешно доставали блокноты и карандаши) сентенции вроде: «Материя загадочнее, чем разум», «Я не понимаю, что значит просто дух, вне Бога или человека» или «По моему разумению, Вселенная есть дух». Если, бывало, он пытался развернуть какой-нибудь афоризм, то у него, кроме страшного сумбура, ничего не выходило, и тогда, стараясь выдать свою беспомощность за милую небрежность и уклончивость, он отговаривался тем, что, увы, не богослов. «Спирит» — какая скользкая, неуловимая субстанция и какое скользкое, ненадежное слово. Ладное старинное слово «дух» (дух в человеке, дух человека, Святой Дух, духи из его апостольского эссе) нравилось ему намного больше, чем «спирит»,[68] с которым все время выходили нелепые недоразумения. Когда друзья бичевали грубый материализм, поднявший голову в их время, он глубокомысленно кивал, но именно материя поражала его воображение; не дух, не «спирит», но огромная, избыточная масса твердой, осязаемой материи — человеческой и

[68] Примечания: 68

Spirit (англ.) — дух. Слово spirit (латинского происхождения) гораздо более многозначно, чем исконно английское ghost, и может значить, в частности, «веселость», «спирт» и т. д.

животной плоти, земли, растительности. «Мир природы поражает меня также своей неуемной, расточительной щедростью, — писал он, — меня поражает и буйство тропической растительности, и плодовитость человечества, этот поток младенцев». И если человеческий разум не ангельского происхождения, тогда и его мысли не более чем электрические искры, испускаемые бледным, осклизлым, червеобразным комком плоти:

Дух мое тело не оставил.
Не все в нас мозг — комок магнитный.
Не тщетно я со Смертью в битву
Вступал, как со зверями Павел.[69]
Мы живы не умом единым…

Он остро чувствовал свое тело. «Будь со мной, — умолял он мертвого друга, — „когда светильник догорает“, когда стынет кровь и щемит душу». Он умело обращался с выразительными словами и фразами вроде «стынет кровь», «щемит душу» — при помощи таких слов он облек в плоть мир из кошмарного сна:

---

[69] Примечания: 69
1 Кор., 15, 32.

Из пасти врат, отверстых там,
Поток одряблых лиц исходит;
Там, спотыкаясь, тени бродят
По бесконечным берегам.

Какие выразительные, плотные слова «пасть», «одряблый», «бродят». Или «валялась», «скакала», «давила». Они и пугают, и зачаровывают. Но другой мир, мир духовный, мир света не поддавался человеческому языку, ускользал из-под пера, словно воздух. «Кто избавит меня от сего тела смерти?» — взывал в отчаянии святой Павел.[70] Да, Павел хорошо знал, что значит быть комком нервов, знал, как прочно запутывается дух в их мелкой сети. Святой Павел писал о человеке, вознесенном до третьего неба «в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю». Альфред тоже умел вырываться из тела, входить при ясном сознании в транс. Удивительно, как он достигал этого состояния: он твердил и твердил про себя два слова собственного имени до тех пор, пока, как ни парадоксально, сосредоточенность исключительно на своем Я не разрушала границ этого Я, этого сознания — и тогда он становился всем, становился

---

[70] Примечания: 70
Рим., 7, 24.

Богом; причем его сознание не затуманивалось, но наоборот, невероятно прояснялось, он обретал чудесную уверенность в себе и сознавал совершенную сверхъестественность происходящего — это состояние не поддавалось никакому описанию. Смерти попросту не было, самая мысль о ней была смехотворна; утрата Я, личности (если то была утрата) отнюдь не равнялась небытию, но казалась единственно настоящей жизнью. Притупление сознания было ему известно во многих формах: в юности его изнуряли припадки наследственной эпилепсии, он блуждал в тумане, как герой «Принцессы» или армии противников в «Смерти Артура»,[71] но утрата личности, вызываемая повторением собственного имени, не имела с такими состояниями ничего общего. Он написал об этом в поэме, надеясь, как и Данте в начале «Рая», что эти строки прочтут люди, которым известно, что такое пребывать вне тела.

Trasumanar significar per verba
Non si poria: pero l'esiempio basti
A cui esperienza grazia serba.

Пречеловеченье вместить в слова

---

[71] Примечания: 71
«Принцесса», «Смерть Артура» — поэмы А. Теннисона.

Нельзя; пример мой близок по приметам,

Но самый опыт — милость божества.

(«Божественная Комедия». Пер. М. Лозинского.)

Он не совсем был доволен тем, как описал в поэме трансцендентальные явления. То была неудовлетворенность мастера: описания неземных состояний казались ему надуманными, недостоверными, в отличие от тщательно выписанной картины своего горя или образов птиц, садов, морских берегов, даривших наслаждение чувствам. Описание транса пришлось многократно исправлять.

За словом слово, вот уже

Мертвец так близко, ближе… вдруг

Во мне живой явился дух

И прилетел к моей душе.

И две души, сплетясь, мгновенно

К высотам мысли воспарили

И суть узрели; ощутили

В себе глубинный пульс Вселенной,

И звуки музыки бессмертной,

И бег Часов, и тяжкий Шаг
Рока и Смерти… Но иссяк
Уже мой транс, сомненьем прерван.

О, речь неловкая. Увы,
Ни перстные слова, ни память
Не в силах до конца представить
То, чем я стал, то, чем я был.

Закат. Между холмов на воле
Коровы белые лежат,
И вязы черные стоят,
Ветвями обнимая поле.

Он долго думал, как ему изменить строку, где говорится о сплетении душ. В первом издании она выглядела иначе:

Дух мой, с его душой сплетясь,
К высотам мысли воспарил…

Он исправил ее. Ему показалось, что первое прочтение может быть неверно истолковано.

Он верил, что во время транса его душа на самом деле покидает тело и, воспаряя, возносится к Великой душе и что они с Артуром составляют, возможно, часть ее. Они установили причину,

по которой Дантов «Ад» впечатляет читателя гораздо сильнее, чем «Рай»: он был создан из слов, неизбежно более чувствительных, — в них присутствовало дыхание, язык, зубы поэта, его рука, «теплый писарь», что оставляет на бумаге чернильный след. Он надеялся, что Артур наслаждается блаженством не меньшим, чем Беатриче в Дантовом раю. Артур говорил ему устами поэмы:

Едва ль постичь тебе дано
Мое блаженство. Знай, оно —
Цель бытия, итог всего.

Но поэма тут же подвергала сомнению его упования:

Мертвец ли говорит те речи,
Тем утишая скорбь мою?
Или душа тоску свою
Игрой воображенья лечит?

Но не Беатриче — наказанные любовники Паоло и Франческа, их сплетшиеся в адском огне души уже сотни лет вызывают у читателя безмерную жалость и острое чувствительное наслаждение.

Его поэма жила благодаря образам безмятежно

дремлющих белых коров, поля в темных объятиях вязов. Как хороша эта фраза — «перстные слова», она передает всю косность и неподатливость человеческого языка. Ладное, выразительное слово «персть» — оно наводит на размышления. На мысли о «сем теле смерти», о глине, о тлении. В одном слове ужились искусство и разложение. «Мы живы не умом единым», — убеждал он себя в минуты сомнения, под умом подразумевая электрические сокращения материального мозга. В другом стихе, однако, он решительно нарисовал руки Горшечника, вылепившего сущее:

И я увидел суть вещей,
То, что постичь не в силах мы.
И в мир простерлися из тьмы
Руки, что лепят нас, людей.

«Лепят», «прах». Бог оживляет глину, Бог или еще что-то вновь обращает ее в прах:

Коль Око, видящее в наших
Поступках зло и благо, гниль
В цветущем ныне древе иль
Руины ныне гордых башен…

Дивно вышло. И это ужасное Око: оно видит

гниль в цветущем дереве, которое из гнили сотворено и потому заключает в себе семя неизбежного тления; несколькими словами он выразил ужас перед бренностью всего, перед бессмысленной бесконечностью материи.

«Не хватит слов, чтобы воспеть
Погибель тлеющего тиса…
Главу оплел корней венец,
Корнями кости сплелись».

Свой горестный плач он воплотил в ярких живых образах, сравнил его с трелью, которую рождает нежное горло певчей птички.

«И крылья омочив в слезах,
Песнь ласточкой несется прочь»;

«Печальный стон моей свирели
Похож на коноплянки трели».

Плач младенца, кричащего во тьме полночной от отчаяния, громкий плач безъязыкого дитяти превратился в птичью трель.

Отведя бороду (в ней путались неуклюжие пальцы, и волоски вместе с белыми костяшками пуговиц лезли в прорези), он вновь попытался застегнуть рубаху. «Дух есть дыхание». Сегодня

он вспоминал прежние битвы, терзался болью старых ран. Давно уж он не думал обо всем этом. «И сожаленье умирает». Его горькое сожаление походило на него самого: оно зачерствело и ныло тупой болью, утратив живую реакцию. Артур ушел очень далеко, а он со своим сожаленьем догонял его или pari passu[72] просто шел к небытию; но теперь они уже не мчались, а неохотно плелись на зов мертвого друга. То была еще не вся правда. Они с Артуром просочились в поэму, жили в ней перстной, словесной полужизнью, думал он иногда, жили нераздельно, но не сливались воедино: их сосуществование не походило на крепкое единение дружеских рук, скорее один из них, как паразит, крепко присосался к другому — так к умирающему дубу лепится омела, украшая его молочно-белыми ягодами и таинственными вечнозелеными листками. Беспокойство по поводу поэмы не оставляло его, в голову постоянно лезли нехорошие мысли. Наверное, поэма необходима ему, чтобы оживлять меркнущую память о друге, но, может быть, стоило проявить мужество и забыть о нем? Что, если, используя образ любимого человека, он преследовал лич-

[72] Примечания: 72
Одновременно (лат.).

ную выгоду, наживал себе славу? Не мудрее, не честнее поступил бы он, если бы, вместо того чтобы творить из своего ужаса, вызванного гибелью Артура, фантастически красивую поэзию, в искреннем непонимании глядел на его смерть, пока, как гаснущий огонь, она не утратила бы в памяти своей язвящей яркости или заставила его отвести взгляд? Нельзя превращать в стихи человека, будь то сам певец или тот, о ком поют, будь то певчее горло или недвижный труп.

Но, несмотря на это, он был уверен в одном: поэма была великолепна, жива и правдива, как ангел небесный. Витавшие в воздухе голоса его предшественников, Данте и Теокрита, Мильтона и несчастного Китса, чьи творения жили вместо творцов, обрели в его поэме жизнь, в ней они вновь зазвучали. Как плененная птица, он пел в клетке своей поэмы, то была круглая, вращающаяся западня, большой шар, окаймленный полосами рассвета и заката. Поэма была целым миром, и ее тяжелая сфера вращалась в космической пустоте; в ней было все: горы и прах, приливы, деревья; мухи, черви и слизистые драконы; ласточки, жаворонки и голуби-почтари; гладкая, как вороново крыло, тьма и теплый летний воздух; люди, коровы, младенцы и фиалки,

а живые нити языка, словно прочные веревки из шелка или солнечного света, связывали все образы воедино. Поэма вышла сияющим двойником безобразной мировой глыбы. Мир расползался, терял очертания — поэма, отражение этого мира, слепок с него, упорядочивала, чудесным образом оформляла его.

Увериться я был бы рад,
Что жизнь продлится вечно.
Или Земля — лишь шар из черной пыли,
А сущее — зола и прах:

Все дивные красоты света,
Шар огненный, зеленый круг,
Что страстный вдохновляют труд
Самозабвенного поэта.

И что нам Бог, коли мы смертны?
Разумно ль тленом соблазняться
И терпеливо дожидаться
Телесной смерти? Легче, верно,

Как в омут, броситься в покой —
Так птах ныряет добровольно
В зияющую пасть питона —

И слиться с черной пустотой.

Он боялся, страшно боялся поддаться искушению и предпочесть Искусство жизни. Искусство легко овладевало им и всецело захватывало его; ему было знакомо искушение страстного, самозабвенного труда — как Соловей, он распевал тогда во все горло. Кембриджский друг его, Тренч, с апостольской серьезностью и добродушной насмешкой внушал ему: «Мы не можем жить в искусстве, Теннисон!» Свой «Дворец Искусства»[73] он написал для Тренча и Галлама; героиней поэмы была его Душа. Он выстроил для нее на высоком утесе величественный дворец наслаждений, дворец Искусства, где Душа восседает горделиво и

В сознанье жизни веселится,
Природы, мира Госпожа,
Над чувствами пятью Царица…

и ведет такие речи:

В раздорах вер я беспристрастна
И все их равно созерцаю,
Как Бог, — никоей не причастна.

---

[73] Примечания: 73
Поэма вышла в свет в 1832 г.

Но вот Душа низвергнута из своей башни в кошмарный мир; теперь он сам с жаром доказывал Тренчу: «Мы можем и должны жить как боги», — и послал ему аллегорию с таким посвящением:

Настанет день, и тот, кто гнал Любовь,
Любовью изгнан будет за порог
И ляжет в прах, во тьме, как пес, завоет.
Затем ли Бог слепил из подлой глины
Венец творенья? Ангелы затем ли
Сосуд души слезами обожгли?

И здесь глина, лепка, прах. В юности пишешь, не задумываясь, и лишь много позже понимаешь, что все неспроста. Еще в детстве он прочитал книгу из библиотеки отца, поразившую его воображение; в ней говорилось о том, как Гавриил с ангелами сочувствовали Деве Марии, боявшейся, что ей предстоит пострадать от насилия мужчины и потерять непорочную девственность. Сорок дней ангелы лепили из глины человека — вот откуда в его стихах лепка и прах. Но не только это предание, пробудило интерес к этому. Он бывал вместе с отцом на похоронах в Баг Эндерби

и Сомерсби, когда отец, воодушевленный парами бренди, сурово и трубно читал заупокойную по усопшим. Его впечатляла глина на стенке могилы, отшлифованная лопатой могильщика и мокрая от дождя, — эта влага представлялась ему слезами ангелов. Впечатляла новейшая теория Дарвина, то усердие, с каким ученый перелопачивал прах и перегной, исследуя жизнь какого-нибудь червя. Человечество было из земли, перстным. Но помимо этого и несмотря на это, существовали и «шар огненный», и «зеленый круг». Артур восхищался Соловьем из «Воспоминаний о „Тысяче и одной ночи“», трель которого «протянулась сквозь время и вовне пространства». И в поэме в память о друге Соловей смело возвысил голос. Он бросал вызов и малодушному «птаху», добровольно ныряющему в питонью пасть, и милой, невинной строчке — «Печальный стон моей свирели похож на коноплянки трели», и утверждению, будто стих и песня — лишь печальный наркотик, притупляющий боль.

Соловей был тайным голосом искусства, в котором, как говорил Тренч, нельзя жить. Теперь, состарившись, он испытывал сильнейшее искушение жить в нем, как ребенком жил в арабских сказках. Временами и его дорогая Эмили, и по-

чтительный сын Галлам, и тысячи поклонников, льстецов и тех, кому что-то надо было от него, казались ему бесплотными, летучими тенями, а истинной действительностью представлялись голоса из незримого мира.

Твой, птица, сладкий звон искусный
Звучит в весенних чащах райских.
Скажи мне, где сплавляют страсти,
Поведай, где сливают чувства;

Где их источник? Распевая,
Ты миришь два враждебных чувства.
И в трели скорбной, трели грустной
Сокрыты смех и ликованье.

Но как печальны мои песни —
Мне струны арфы неподвластны;
На миг итог всего прекрасный
Вольется в трель и вновь исчезнет.

«Итог всего прекрасный» — как хорошо звучит! Он обращался к Артуру по-шекспировски риторично:

Смерть изукрасила, я знаю,
Тобою мрачный свой чертог,

но сам украсил поэму смертью друга и понимал со страхом, что красота эта нечеловеческая, одновременно животная и бестелесная, перстная и неосязаемая.

Длинная мысль в мгновение ока проносится по проторенному пути; яркие образы, ассоциации, болезненные воспоминания не нанизываются одно за одним, как бусы, а сплетаются в плотный шар и все разом катятся стремительно по тоннелям мозга. Он так и не нащупал для пуговицы нужную петлю и, бросив пытаться, подошел со свечой к зеркалу, хотя знал, что определить ее в зеркале не легче, чем найти ее на ощупь. Перед черной зеркальной бездной бело-желтый огонек свечи задергался и выгнулся (неожиданно потянул сквозняк); грязная струйка копоти побежала назад через его плечо. Он поставил подсвечник на туалетный столик — в зеркале отразился бородатый демон с кустистыми бровями и мерцающими глазами; в бороде скалились желтые зубы. Морщинистая кожа обтягивала череп. В огромных провалах глазниц сидели темные, мерцающие бриллианты глаз; «точно влажный студень», — подумал он. С сожалением посмотрел на редеющие ресницы. Он всмотрелся в глубокие пещеры ноздрей. Выдохнул — невидимая струя

поколебала огонек свечи, завила дымок в дрожащие кольца. Огонек судорожно вспыхивал. «Дух есть дыхание». «Этот дотлевающий, но красивый старик тоже вглядывается в меня». Он дотронулся до щеки — холодная как лед. Сие тело смерти. Он позвал отражение:

— Альфред Теннисон, Альфред Теннисон.

Ни тот, кто жил в его теплом теле и сейчас заглядывал в зеркало, ни холодный призрак, вперивший в него взгляд из зеркала, не были тем, кого люди знали как Альфреда Теннисона.

— Альфред Теннисон, Альфред Теннисон, Альфред Теннисон — повторил он, а затем еще быстрее, уже с нетерпением: — Альфред Теннисон, Альфред Теннисон, — снова и снова повторяя имя пустоты, этого беспорядочного и страшно недолговечного сцепления нервов и разума, он постепенно обращал и свое тело, и своего двойника в ничто. Он почувствовал жалость к этой белой шее, к нежной и беззащитной, как у младенца, груди. Наконец, деревянными пальцами, которые уже не слушались его, он застегнул пуговицу. Все поплыло перед глазами, комната бешено закружилась. Вытянув руки, он попытался оттолкнуть свое отражение и пригасил рукавом свечу — тошнотворно запахло горе-

лыми тряпками и нагаром. Шатаясь, он добрел до кровати и бревном упал на нее. Он знал, что теряет не сознание, а свое тело. Перина под ним шевелилась и волновалась; он погрузил голову в подушку, которая тоже шевелилась и вздымалась. Его, мешок с костями, поддерживал мешок с выщипанными перьями. Он сделался легок, словно воздух, он превратился в свет и воздух. Голоса неумолчно пели. В молодости он очень боялся такого смятения чувств и мыслей, потому что с ним часто случались припадки эпилепсии: сначала его ослеплял сверхъяркий свет, потом голова начинала кружиться, и он падал, потом хрипел и выл, словно, как душу, его низвергли с высокой башни во мрак. Строчка за строчкой он начал припоминать стихотворение «Мистик», написанное им в 1830 году:

И Ангелы держали речь к нему.
Бессменно высились перед его глазами
Фигуры многоцветных исполинов —
Немые, бестелесые гиганты,
Как тени смутные, не знающие смерти,
Четыре лика обратив к краям небес;
Другие тени три лицом друг к другу,

Числом три, но одна по сути:
Одна как столп блистающего света,
Другая — воплощенье вечности,
А третья — бесконечного покоя, —
С недвижным и бесстрастным взором.
Бывало, он не спал, но ум и воля
От тела отделялись и парили;
Тогда в тиши полночной слышал он
Стремительный бег времени и тварей,
Что шли к могиле, медленную поступь.

Софи увидела колеблющийся огонек свечи, дымок и жуткое лицо с темными глазницами: старик, словно сквозь невидимое окно, заглядывал в ее комнату. Мертвая холодная плоть тяжелела с каждым мигом и вдавливала ее в постель так, что она не могла ни пошевелиться, ни разомкнуть веки, ни сглотнуть пересохшим горлом. Разбухший, неповоротливый язык промямлил ей в самое ухо:

— Что ты видишь?

И словно сквозь очень толстое стекло она увидела, как старик в ночной рубашке, шатаясь, добирается до кровати и растягивается на

скомканных простынях. Затем его тело начало испускать множество вьющихся нитей, и он сделался похож на личинку насекомого, прядущую кокон. Блестящие нити тянулись из его рта и обвивались вокруг головы. Первое время еще можно было различить черты лица, но нити ложились одна на другую, все гуще и гуще, и скоро остался виден лишь острый профиль, который с каждым новым слоем терял очертания, пока, наконец, блестящая ткань не скрыла все тело, которое превратилось в длинную блестящую куколку, которая не переставала шевелиться и светиться.

— Мне трудно сказать.

— Все мутится. Я ничего не вижу. — Он вцепился в нее распадающимися пальцами; словно корни, они пытались прорасти в ее тело, найти в нем опору. Ей и раньше случалось во время транса испытывать страх, но тот страх не шел ни в какое сравнение с тем, что она испытывала сейчас: страх и жалость, жалость и страх усугубляли друг друга. Он хотел подпитать себя ее жизнью и пронизывал смертным холодом ткань ее нервов. Мелькнула мысль: никогда, никогда больше она не станет видеться с ужасными мертвецами, а спокойные, темные глубины в ней возмутились

от ужаса, ее и его ужаса: ужасно расставание души с телом, ужасна неистовая энергия любви к тому, что остается после того, как уходит жизнь. Он распадался, исчезал, ей, лежавшей рядом, обнимавшей его, не удавалось удержать его; вот пропал его голос, размылись черты, рассыпались руки, и холодная, как глина, зловонная жижа залепила ей губы и нос.

XI

День Ангела[74] выдался пасмурным и ветреным — надвигалась буря. Миссис Папагай и Софи Шики шли по набережной; на сером мокром тротуаре тут и там блестели покрытые рябью от набегавшего ветра черные лужи. Влажный ветер развевал им юбки, и приходилось придерживать шляпы, ибо ветер грозил сорвать их и унести в море. Белые птицы носились над морем, бросались вниз, перекликались, пронзительно вскрикивали, качались беспечно на свинцовых, взмутненных песком волнах, важно разгуливали по лужам. Софи подумала о том, как холодна вода, в которую окунаются их холодные, когтистые, морщинистые лапки, и содрогнулась. Миссис Папагай вдохнула соленый воздух и спросила Софи, не больна ли она.

— Ты вся серая, милочка. Не нравится мне это. К тому же я чувствую, что-то гнетет тебя.

Софи робко подтвердила, что ей и в самом деле не по себе. И едва слышно добавила (она говорила

---

[74] Примечания: 74

День св. Архангела Михаила и всех Ангелов празднуется в Англии 29 сентября.

почти шепотом, и ветер уносил ее слова), что посредничество на сегодняшнем сеансе может оказаться ей не под силу. Миссис Папагай бодро прокричала в ответ:

— Доверься мне. Я приду на помощь, как только замечу, что тебе тяжело.

Софи пробормотала, что спасать человека от духов не так-то просто. Ее страшит сама мысль о сеансе, — призналась она, зажав в белом кулачке край шляпы, порывавшейся улететь.

— Быть может, — она приостановила миссис Папагай и заглянула ей в лицо (за спиной миссис Папагай волновалось море), — быть может, нам не следует вступать с ними в контакт, миссис Папагай. Может, то, что мы делаем, противоестественно?

Миссис Папагай бодро возразила, что стремление общаться с мертвыми присуще почти всем народам мира и считается естественной человеческой склонностью. Взять, к примеру, Савла и Аэндорскую волшебницу,[75] — продолжала она, — или Одиссея, приносившего прорицателю Тересию сосуды с кровью, или краснокожих индейцев: они мирно сосуществуют с духами

---

[75] Примечания: 75
1 Цар., 28.

предков. Примером индейцев обыкновенно укрепляли сомневающихся спиритов; души краснокожих довольно часто являлись на сеансах, они говорили по-английски и, должно быть, обстановка гостиных — чучела попугаев, салфеточки на мебели — сильно сбивала их с толку. Миссис Папагай беспокоило то, что Софи, обыкновенно столь невозмутимая, решила остановиться во время бури, чтобы высказать свои сомнения. Она заглянула под шляпу Софи — в глазах девушки стояли слезы.

— Милая моя, — сказала тогда миссис Папагай, — никогда не делай того, что претит тебе, на что у тебя не хватает ни сил, ни духа. Без куска хлеба мы не останемся; мы можем пустить к себе жильцов, можем очень недурно шить. Мы еще об этом поговорим.

Софи сквозь слезы посмотрела на свинцовую воду, на раскачивающийся горизонт, на свинцовое небо. Белела морская пена, летали белые птицы, по серому небу неслись тучи с белыми оборками.

— Как вы добры. Я так благодарна вам. Вы очень добрая, и я вас люблю. Я не подведу вас. Вот я выговорилась, и мне уже не так страшно. Я готова продолжать.

Ветер со свистом бил им в лицо, словно издеваясь над этими словами признательности. Женщины взялись за руки, прижались друг к другу и, преодолевая шквальный ветер, вошли в город.

Недовольство и отчуждение, витавшие в воздухе гостиной, сразу же обескуражили миссис Папагай. Она не виделась с мистером Хоком с того злополучного дня, когда они беседовали о браке на Небесах, и подозревала, что он все еще сильно не в духе. Войдя в гостиную, она поняла, что дело обстоит гораздо хуже. Мистер Хок сидел в углу и рассказывал миссис Джесси и миссис Герншоу о физическом контакте Сведенборга со злыми духами: те духи коснели в заблуждении, полагая, что копотная чернота и смрад, исходившие от них, — чистейший воздух, а их отвратительные обличья прекрасны.

— Испуская флюиды страдания, они ухватились за ту часть тела учителя, которой сами соответствовали в Богочеловеке.

Он принес миссис Джесси большой букет мертвенно-бледных тепличных роз, и горничная поставила его в вазе на середину стола. Равнодушно кивнув, он поприветствовал вошедших. Когда миссис Папагай увидела, в каком состоя-

нии пребывает миссис Герншоу, ей сделалось дурно. Та беспрестанно подносила к губам кружевной платочек, а левой рукой поддерживала живот, словно оберегая в себе, вместе с чувствами, своего нерожденного ребенка. Сама миссис Джесси выглядела недовольной и утомленной. Капитан Джесси был непривычно молчалив. Его белая грива светилась отраженным светом масляной лампы; он стоял у окна и вглядывался в густевшую тьму. «Он словно тоскует по свободе и непогоде», — подумала миссис Папагай.

Они расселись за столом в напряженной тишине. Свет камина обагрил и без того красное лицо мистера Хока — теперь он походил на красное блестящее яблоко, на разгневанного херувима.

Когда они приготовились принимать послания из мира духов и ангелов, мистер Хок не стал открывать свою душу миссис Папагай, а заявил, что должен поделиться с ними кое-какими важными соображениями. Последнее время, — продолжал он, — он много размышляет о материальном в свидетельствах Сведенборга, как и о том, насколько эти свидетельства согласуются с верой в духов. Когда он читал свидетельства о путешествии по Небу и Аду в первый раз, его поразило,

что мудрец утверждает, будто он преподал Ангелам множество истин. Однако что же в этом удивительного? Человек обитает одновременно в двух мирах и при помощи двойственности своей природы способен постичь и преподать знание, которое недоступно обитателю одного мира. До появления Сведенборга Ангелы не ведали, что есть материя и чем она отлична от духа. Только когда в их мире явился человек, заключающий в себе и материю, и дух, они сумели путем чувственного опыта постичь разницу между первой и вторым. Можно утверждать, что явление Сведенборга было для Ангелов научным *экспериментом, позитивным опытом* и что Архангелам и Ангелам опыт необходим так же, как химикам, философам и механикам. Вообще, если здраво рассудить, получается, что не субстанция, но факт — первооснова всего, а самое божественное — опыт. Богочеловек тем превосходит Ангелов, что обладает человеческой природой и так же, как человек, дуалистичен в своей гармонии материи и духа.

Более того, следует помнить о материальной природе Богочеловека. Справедливо утверждают, что, как и Ангелы небесные, соединенные супружеской любовью, Богочеловек заключает

в себе и мужское, и женское начала. Истинно то (и Сведенборг красноречиво засвидетельствовал эту истину), что в одно время, в одной точке космоса, на одной из обитаемых планет Богочеловек воплотился в человеческом облике и пребывал земным человеком, «из земли, перстным»,[76] как сказал святой Павел. Истинно то, что небо сочетает мужское и женское начало, ибо небо началось от человека, от мужчины и женщины, как в Бытии сказано: «по образу Божию сотворил их; мужчину и женщину сотворил их».[77] Но помимо этого надлежит знать и понимать еще одну доктрину Сведенборга — о человеческом в Творце. Воплотившись в земном теле, Господь взял от человеческой матери человеческий облик, а от своего Божественного Я, то есть Отца, — бессмертное Человеческое Естество. Прошло время, учит Сведенборг, и Господь освободился от человеческого, унаследованного от матери, и облекся в Человеческое от Своего Божественного Отца. Пребывая на земле, он пережил два состояния: униженности, или телесности, и затем славы, или единения с Божественным, то есть с Отцом.

---

[76] Примечания: 76
1 Кор., 15, 47.

[77] Примечания: 77
Быт., 1, 27.

Он был униженным, пребывая в человеческом от матери, но облекшись в Человеческое от Отца, обрел славу.

В унижении своем Он молился Отцу, как существу, отличному от себя, но, обретя славу, заговорил с Ним, как с Собой. Распятие освободило его от тленного человеческого облика, и с тех пор он пребывает в славе и единении с Отцом. О том сказано в «Первом послании к коринфянам»:

«Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.

Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся.

Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».[78]

Слушатели, а среди них женщин было большинство, хмуро молчали: мистер Хок бичевал каждую из них и женский пол вкупе, клеймил их

---

[78] Примечания: 78
1 Кор., 15, 47–52.

ущербность или, скорее, излишнюю телесность. Миссис Герншоу крепче обняла корсет, за которым томилось ее пышное тело, прутьями ребер ограждавшее от мира растущее дитя, которому все вокруг угрожало смертью. Миссис Папагай потупила взгляд, избегая смотреть мистеру Хоку в глаза, и теребила подбородок. Софи дрожала и, сжавшись в комочек, куталась в одежду. Миссис Джесси поглаживала похрапывающего Мопса по мягкой, уродливой голове. Капитан Джесси фыркнул и не к месту пробасил:

— Тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы.

Молчание. Мистер Хок поинтересовался:

— Не изволите ли объяснить, к чему это?

— Просто мне нравятся эти слова, мистер Хок; они поднимают настроение, ведь в них засвидетельствован счастливый союз земли и неба: сынов Божиих восхитила женская красота. Как давно это было? Еще в раю, наверное.

— Это большое заблуждение, капитан Джесси, очень большое. Богословы утверждают, что так называемые сыны Божий суть падшие ангелы, развращенные похотливой страстью к земной красоте. И Сведенборг также свидетельствует, что есть ангелы, подверженные похоти. Более

того, даже святой Павел призывает нас предупреждать ангельское влечение к женскому телу. Он обязывает женщин покрывать голову во время молитвы в церкви, ибо «всякому мужу глава Христос, а жене глава — муж». «Итак, — говорит Павел, — муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа.

Ибо не муж от жены, но жена от мужа;

И не муж создан для жены, но жена для мужа», а далее говорит он, — продолжал взволнованно мистер Хок: — «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов».[79] Это замечание Павла может сбить с толку, однако ему найдено объяснение: молитвы паствы привлекают внимание ангелов, и женщины не должны искушать их — здесь речь идет об ангелах, несовершенных по своей духовной природе.

— Следует ли из этого, мистер Хок, что великолепные шляпки наших знатных дам, украшенные перьями райских птиц, цапель, попугаев, страусов, синих соек и снежно-белых голубей, — также суть «знаки власти», предупреждающие

---

[79] Примечания: 79
1 Кор., 11, 3—10.

ангельскую похоть? — поинтересовалась миссис Джесси. — По-моему, все эти жуткие башни и башенки из несчастных убиенных тварей, в перья которых мы рядимся, словно дикари, надевающие маски и накидки из перьев, — все это воистину «знаки власти», власти денег, которая отправляет за море караваны кораблей ради истребления невинных животных. Печальная участь ожидает их: им суждено украшать чье-нибудь расплывшееся лицо, и перья их будет ерошить ветерок светской болтовни.

— При жизни святого Павла, миссис Джесси, ничего этого не было. Он обличал женскую суетность и мужскую похоть, полагая их злейшими пороками, которые присущи и людям, и небожителям, и обитателям преисподней, что убедительно засвидетельствовал наш великий пророк Сведенборг. Павел питал отвращение ко всякому проявлению женской суетности, а нынешнее стремление к модным шляпкам, о которых вы говорили, несомненно, ее доказывает.

— Но он говорил, что, если жена растит волосы, это честь для нее, — заметил капитан Джесси.

— Верно, но при этом уточнял: «так как волосы даны ей вместо покрывала». Женщина обязана покрываться, — мистер Хок перешел на крик.

— Когда мы поженились, — проговорил капитан Джесси, — у Эмили волосы спускались ниже талии, и все локоны, локоны. Прекрасные были волосы.

— И вот что с ними сталось, — беспечно проговорила его жена, дотрагиваясь до серебристых прядей.

— Они просто стали другими, — возразил капитан Джесси. — И не сказать, чтобы в мгновение ока; хотя бывает, что жизнь кажется кратким мигом; годы уносятся, и мы уже не те; несется крылатое время — и мы меняемся.

— Вы говорите о тайнах без подобающей серьезности, — заметил мистер Хок.

— Вы слишком суровы, — возразила миссис Джесси, — мы собрались ради важного дела, но мы не паства в церкви. Давайте-ка оставим этот разговор, и пусть миссис Папагай успокоит нас, откроет наши сердца, возможно, возлюбленные духи имеют что-то нам сообщить. Миссис Папагай, что, если для этого мы тихонько споем?

— Атмосфера слишком накалена, миссис Джесси. Вокруг множество сердитых и озорных духов, это опасно. Возьмемся за руки и помолимся о душевном покое.

Она протянула левую руку мистеру Хоку, а пра-

вую — миссис Герншоу. Софи удалось устроиться между миссис Джесси и капитаном: окунать руку в кипящий гнев мистера Хока было выше ее сил. Миссис Герншоу оказалась между капитаном и мистером Хоком. Знойный, влажный жар исходил от последнего и волнами накатывал на миссис Папагай. Она попыталась отстраниться от этого зноя и потому, вопреки обыкновению, не могла уловить и распознать настроения присутствующих. Дабы защитить себя, она предалась размышлениям, а когда она углублялась в раздумья, сеанс прерывался. Занятные мысли приходили ей в голову: оказывается, жаркие духовные схватки могут разыграться даже в гостиной, при умиротворяющем свете камина; противники распаляют друг друга, выпуская стрелы слов, которые обозначают разные вещи: волосы, перья, ангелов, мужчин и женщин, Бога. Мистер Хок с капитаном Джесси, вооружившись словами как копьями, устроили поединок. Слова эти почти материальны — во время поединка от слов соперников в ее голове рождались образы вещей: длинные, пышные волосы, шляпки, объятое страстью мужское тело — и все же слова не вещи в том понимании, в каком вещью является ее осведомленность о душевном расстройстве

миссис Герншоу или о духовной опустошенности Софи, причина которой ей неведома; очевидно, дело и не в существе из глаз, которое явилось ей на прошлой неделе. Да, Софи ведет себя загадочно. Она перевела взгляд на миссис Джесси: и она ведет себя непонятно; причиной тому, несомненно, прошлое послание, но о нем миссис Джесси не желает ни с кем откровенничать. Миссис Джесси высвободила руку и принялась развязывать ремешок на лапке Аарона. Отвязывая ворона, она поглаживала его по черной спине, а он стоял на краешке стола, кланялся и, встряхиваясь, трещал перьями. Потом, склонив голову набок и глядя искоса мерцающим чернильно-черным глазом, подступил к мистеру Хоку. Тот уже собирался заговорить, но, заметив ворона, остерегся. Аарон склонил голову на грудь, сгорбился и, по всей видимости, задремал.

Ярость, тоска, отчаяние и похоть кипели в воздухе и, словно волны, лизали склонившиеся над столом головы. Все молчали, тишина сгущалась. Упал лепесток. По стеклу внезапно забарабанил дождь — капитан Джесси повернулся и выглянул на улицу. Миссис Папагай предложила начать бессознательное письмо. Не желая обременять Софи, она притянула к себе лист бумаги, подо-

ждала, и спустя миг перо уверенно вывело:

«Блаженны плачущие, ибо ОНИ УТЕШАТСЯ».[80]

— Здесь ли дух? — спросил мистер Хок. — Не хочет ли он обратиться к кому-либо из присутствующих?

«Нет, не придет».

— О ком речь? Кто не придет? — озадачился мистер Хок.

— Артур, — со вздохом ответила миссис Джесси. — Я уверена, что речь идет об Артуре.

Перо застрочило:

«Настанет день, и тот, кто гнал любовь,

Любовью будет изгнан за порог

И ляжет в пыль, во тьме, как пес, завоет».

Одно слово будто особенно пришлось ему по душе, и перо написало его несколько раз подряд: «завоет, завоет, завоет», а затем добавило:

«И страдала хуже,

Чем худшие из тех, чьи муки

Едва себе вообразить мы можем.

---

[80] Примечания: 80
Матф., 5, 4.

О это слишком страшно...»[81]

— Это — дух поэта, — сказал мистер Хок.

— Первые две цитаты — из Альфреда, — проговорила миссис Джесси. — Может быть, перо выудило их из моей головы. Последняя — из «Меры за меру», Клаудио описывает муки души после смерти. Строки эти весьма впечатляли Альфреда, да и всех нас. Кто бы это мог быть?

«И придет утешение. И отрет Бог всякую слезу с очей. Вот жених идет. Не знаете ни дня, ни часа, в который приидет он. Зажги светильник».

— Кто говорит с нами? — спросила миссис Джесси.

— О нет, не надо, — хрипло прошептала Софи Шики.

— Софи! — вскричала миссис Папагай.

Холодные руки сжимали шею Софи, холодные пальцы касались ее теплых губ. По голове, по рукам, по всему телу побежали мурашки. Она задрожала и задергалась, как в конвульсиях. Раскрыв рот, она отвалилась на спинку стула. У окна кто-то стоял. Существо было неестественно большим, но почти бесплотным, как столп дыма или огня, как столп облачный. В нем было

---

[81] Примечания: 81

Уильям Шекспир. Мера за меру. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

мало от человека. Это не был тот давно усопший юноша, к которому она испытывала столько жалости, — это было живое существо с тремя крылами, свисавшими с одного боку. Крылатая половина его тела была тускло-золотая, в перьях и искрилась металлически; лицо напоминало хищную птицу, гордое, золотоглазое. Другая, обращенная в тень половина тела была глинистого серого цвета, бесформенная, с торчащими вместо рук культями. Изо рта, который едва ли можно было назвать ртом, выходил свистящий шепот. Существо говорило двумя голосами; один звучал мелодично, второй скрипел, как скрипит под пером бумага.

— Скажи ей, что я жду ее.

— Кому сказать? — слабо пролепетала Софи, но все расслышали ее вопрос.

— Эмилии. Мое блаженство — итог всего. Скажи ей. Скажи, что мы соединимся и станем одним Ангелом.

Существо жаждало отнять жизнь у тех, кто сидел за столом.

— Софи, — позвала миссис Папагай, — кого ты видишь?

— У него золотые крылья, — ответила Софи. — Он говорит, что ждет. Говорит: «Мое блаженство

— итог всего». Велит передать Эмилии… миссис Джесси, что… что соединится с ней и они станут одним Ангелом. Там, за могильной чертой.

Эмили Джесси глубоко вздохнула. Выпустив холодную руку Софи, отняв у мужа другую, она разорвала круг. Софи лежала недвижно, как узник перед инквизитором, устремив взгляд на полуангела, которого не видел, точнее, не чувствовал никто, кроме нее. Эмили Джесси взяла мужа за руку.

— Что мне сказать, Ричард? — начала она. — Пусть не все у нас было гладко, пусть наш брак был не совсем удачен, но оставить тебя было бы крайней несправедливостью, и мне претит такая перспектива. Мы немало дурного пережили вместе в этом мире и радоваться благам иного мира тоже будем сообща.

Ричард поднял ее руку и посмотрел на нее.

— Эмили, — проговорил он и снова: — Эмили… Почему…

— Что с тобой? Обычно ты в карман за словом не лезешь.

— Все так. Но, видишь ли, я знал… знал, что ты хочешь увидеться с ним. И… твои слова… я не ожидал услышать такое.

— Возможно, ты недопонимал меня, — предпо-

ложила миссис Джесси.

— Что ты говоришь. Я старался понимать тебя и терпеливо ждал, и чтил…

— Чересчур. Чересчур. Ты перестарался… мы оба перестарались.

Капитан Джесси тряхнул головой, словно вынырнувший пловец.

— Но ты ведь ждала его, ждала на каждом сеансе…

— Да, я люблю его, — ответила Эмили, — но очень трудно любить мертвеца. Любить его как живого.

Эти речи несказанно обрадовали миссис Папагай. «Кто бы мог подумать такое?» — удивилась она про себя. Но насколько все естественно: лишь когда ей дали понять, что мужа, которого она привыкла считать чем-то неотъемлемым, само собой разумеющимся, что мужа не будет рядом, только представив вместо него пустоту, вообразив свое существование без него, она его по-настоящему оценила. Миссис Папагай понимала, что окрашивает реальность изрядной долей романтики, но ничего не могла с собой поделать: она преисполнилась восторга, наблюдая, как двое пожилых людей обмениваются понимающими и в то же время вопрошающими взглядами, — казалось,

им нечего таить друг от друга, и все же каждый хранил в себе великую тайну. «Сколь занятно все это», — подумала миссис Папагай и тут же очнулась — сдавленно вскрикнула Софи. Ужасная, пепельно-сливово-голубая синева заливала ей лицо, а губы беззвучно что-то шептали. Она всхрапнула и отчаянно, жадно вздохнула, словно кто-то выкачивал из нее воздух. Миссис Папагай тихонько поднялась и, подойдя к Софи, приложила теплые ладони к ее холодным вискам. Маленькие ноги Софи застучали по ковру, она забилась в конвульсиях, ее спина выгнулась. Глаза смотрели невидяще в одну точку. Ничего столь ужасного не приключалось с ней до сих пор. Миссис Папагай пыталась через руки влить в нее свою любовь, ладонями обнять, удержать ее душу. Пустота гипнотизировала Софи, пустота из расползающейся глины и праха, осыпающегося с поникших перьев. Наконец, существо ослабло и, испустив через ее горло хриплый вздох, в злобе и тоске сгинуло, обратилось в искристый мрак; мрак вскипел, вспенился, качнулся — и перед нею вновь была черная озерная гладь. Она посмотрела на капитана Джесси — альбатрос, расправляя огромные, свободные крылья, смотрел на нее глазом в золотом ободке.

— Софи, — позвала миссис Папагай.

— Мне намного лучше, — откликнулась Софи, — теперь.

Миссис Папагай рассудила, что неплохо бы под конец сеанса получить ободряющее послание. Она не уставала дивиться, что и в присутствии мертвых живые не забывали о своих серьезных и пустячных заботах. Никого, кроме нее, не потрясло случившееся с Софи. Никто не испугался за ее жизнь. Складывалось впечатление, что они считают Софи лицедейкой, но, с другой стороны, они готовы верить в истинность этих видений. «Наверно, — рассуждала миссис Папагай, — они и верят и не верят в то, что Софи лицедействует, но вера эта защищает их от хищного мрака, который может однажды навалиться на них». Сама она знала, что Софи не лицедействует, пусть и не видела того, что представало перед Софи. Позже она ужаснется своей беспечности: как же она не подумала, что в комнате может находиться опасный, недобрый дух? Но сейчас, как и все прочие, полагала, что сеанс — всего лишь светское развлечение: так гости рассказывают друг другу байки, разгадывают шарады, уверенность в этом не оставляла ее, даже когда она сжимала скованные мертвым холодом руки Софи. Все еще

раздумывая, она притянула лист бумаги и взяла карандаш. Он радостно запрыгал в ее руке и, точно бесноватый, понесся по бумаге, с тщательностью и решимостью одержимого выписывая:

Иль Ангел Брачный занемог?
Главу двуликую склонил он
Он словно камень над могилой
Замшел, и мертв, и одинок

Дух Святый насадив на крюк
Толстушку Софи ждет улова
Он удит Божиих сынов а
Те стаей собрались вокруг

Вот в пустоту закинул Сам
Лесу а Софи стонет тяжко
Не терпится прижать бедняжке
Его к роскошным телесам

Вот розы лепестки в могиле
С истлевших сыплются волос
У них увы не запах роз
Смрад адов, дух зловонный гнили

Одним желанием живет

Моя любовь как зверь голодный
Вцепившись жадно в труп холодный
Соитием насытить плоть

Красавица и шлюха Роза
Лежит в своем гробу воняет
Альфред чернильные роняет
Слезинки в ее quelque-chose

Вот Ангел крылья раздает
И член вздымает золотой
И трупом стали муж с женой
Одним что стонет и поет.

— Стойте, — приказал мистер Хок. — Здесь злой дух. Мы должны пресечь его грязные речи. Прибавьте огня. Остановитесь же, миссис Папагай, нельзя поддаваться ему.

Аарон, разбуженный гневным тоном мистера Хока, бочком прошелся по столу, опрокинул вазу с цветами и перелетел на камин, оставив на скатерти темное пятно с белыми краями.

— Что это значит? — миссис Герншоу читала послание. — Что это значит?

— Одни непристойности, — сказал мистер Хок. — Женщине читать не следовало бы. С нами

говорил злой дух, и мы не станем больше слушать его.

Как бы в подтверждение его слов Аарон громко каркнул, и все подскочили. Мопс завозился во сне и с треском выпустил газы — по комнате распространился густой запах гнили.

Поджав побледневшие губы, миссис Джесси отнесла оскорбительное послание к камину и бросила его в огонь. Бумага покоробилась, скрутилась, сделалась коричневой, обуглилась и на пепельных крыльях вспорхнула в дымоход. Наблюдая за миссис Джесси, миссис Папагай подумала, что сегодня был их последний сеанс в этом доме: произошло нечто необыкновенное, и хозяйка больше не захочет звать умершего. Это было и грустно, и радостно.

Ворчливо попрощавшись, мистер Хок удалился, коляска увезла домой миссис Герншоу. Миссис Джесси заварила для них с Софи чаю и заявила, что находит уместным пока воздержаться от сеансов.

— Кто-то забавляется моими святынями; не я сама, миссис Папагай, но тогда кто же? — этого я и не желаю знать. Вы думаете, смелость оставила меня?

— Я думаю, вы мудро поступаете, миссис Джес-

си. Очень мудро.

— Вы меня успокоили.

Она разливала чай по чашкам. Керосиновые лампы бросали на поднос теплые блики. Заварной чайник был фарфоровый, по его боку вился узор из малиновых, темно-розовых и небесно-голубых розочек; чашки тоже были расписаны гирляндами из роз. Подали глазурованные пирожные. На каждом был отформован из глазури кремовый, фиолетовый или снежно-белый цветочек. Софи Шики смотрела, как выливается из носика парная, ароматная струя янтарной влаги. Вот оно чудо: где-то в далеком Китае или в Индии люди с золотистой или бронзовой кожей собирали чайные листья; потом на белокрылых кораблях, через штормы и ураганы, под знойным солнцем и под холодной луной чай, надежно упрятанный в деревянные ларцы, выстланные свинцом, добирается до них, а его разливают из фарфорового чайника, который вылепили из тонкой глины искусные руки горшечника, потом прокалили, покрыли блестящей глазурью, обожгли, потом тончайшей кистью расписали руки художника, нежно вращая гончарный круг и легким, как поцелуй, прикосновением соболиных волосков усаживая на лазурный или белый

фон воздушные бутоны; а сахар привозят с плантаций, где черные рабы, мужчины и женщины, изнемогают и умирают в мучениях, а здесь этот сахар превращают в нежные цветки, тающие на языке, словно свитки во рту пророка Исайи; а еще надо смолоть муку и сбить масло из молока, и приготовить из них эти вкуснейшие маленькие пирожные — миссис Джесси выпекла их в духовом шкафу, красиво уложила на тарелке и подала им: седовласому капитану с веселыми глазами, разрумянившейся и взволнованной миссис Папагай, ей, такой больной и утомленной, черной птице и слюнявому Мопсу. Вот они сидят перед жаркими углями камина, при мягком свете ламп. С каждым из них могла случиться беда, и не сидеть бы им сегодня за чаем, не лакомиться сладостями. Капитана могли погубить бури и плавучие льды, его жена могла умереть от горя или в родах, миссис Папагай могла впасть в нищету, а она осталась бы прислугой и захирела от тяжелой работы, но ничего этого не случилось, все они здесь, их глаза светятся, а во рту — сладко.

XII

Они вышли на улицу, в кромешную тьму. Подмораживало, порывами налетал ветер, в воздухе носились соленые брызги, рядом и где-то вдали шумело море. Они решили идти домой пешком — надо было экономить. Если миссис Джесси откажется от сеансов, если мистер Хок будет злиться и относиться к ним враждебно, что тогда с ними будет? Ветер дул в спину. Они скорым шагом шли к набережной, выставив перед собой зонтики. Спустя некоторое время Софи потянула миссис Папагай за рукав и сипло закричала ей в ухо:

— За нами кто-то идет. С тех пор как мы вышли от миссис Джесси, я слышу за спиной чьи-то шаги.

— И правда. Мы остановились, и шаги смолкли. Он один.

— Мне страшно.

— Мне тоже. Давай постоим под этим фонарем и дадим ему пройти с миром, иначе нам придется помериться с ним силами. Нас двое, а он один. Не хочу, чтобы за нами кто-то шел, ведь скоро мы попадем в тот лабиринт улочек за рыбным

рынком. Боишься, Софи?

— Боюсь. Но в конце концов он простой смертный.

— Зато в нем живой дух, поэтому он может быть опасен.

— Знаю, но сейчас меня больше страшат мертвые. Давайте постоим и посмотрим на него. Вдруг он пройдет мимо.

Они остановились, и шаги снова стихли, а затем медленно и неуверенно стали приближаться. Женщины замерли под фонарем, покрепче ухватив зонтики. Шаги приблизились — из мрака выступила угловатая фигура в бесформенном пальто и черной фуражке. Подойдя ближе, человек остановился как вкопанный и воззрился на них.

— Почему вы идете за нами? — спросила миссис Папагай.

— Это ты, — проговорил человек. — В темноте я не мог разглядеть, кто это, но теперь вижу: это ты. Я пришел к тебе, свет не горит, и дверь на замке. Соседка сказала, что ты ходишь этой дорогой, и я отправился за тобой — ждать на крыльце холодно и сырость пробирает до костей, а я столько мерз и мок, что другому бы на две жизни хватило. Ты не узнаешь меня, Лилиас?

— Артуро, — пролепетала миссис Папагай.

— Мы дважды тонули, — помолчав, продолжал он, — один раз нас прибило к чужому берегу. Ты разве не получила моих писем? Я писал, что мы возвращаемся домой.

Миссис Папагай молча покачала головой. Она боялась, что у нее начнется истерика. Нервы у нее напряглись, в голове стучало, ее, как убойную корову, словно оглушили обухом.

— Я тебя, видно, очень напугал. Надо было мне подождать тебя на крыльце.

Миссис Папагай на миг очутилась на краю могилы, а потом крылатый ветер примчал ее обратно. Жизнь влилась в ее сердце и легкие, она пронзительно закричала:

— Артуро! Артуро! — И отшвырнула зонтик, который полетел по улице, словно парашютик гигантского одуванчика. — Артуро! — миссис Папагай бросилась к мужу, и не окажись он рядом и не удержи ее, она без чувств рухнула бы на мокрый тротуар. Но он был настоящий, и миссис Папагай упала в его объятия. Распахнув пальто, он прижал ее к себе, и она вдохнула его запах, живой запах соли, табака, его волос и кожи, — этот запах она не спутала бы ни с каким другим: ее ноздри хранили его, даже когда казалось, что

благоразумнее бы его забыть. Он уткнулся в ее волосы, а она свободными теперь руками обняла его, пусть исхудавшего, но настоящего, живого, на ощупь припоминая его плечи, грудь, живот и беспрестанно выкрикивая его имя то в пальто, то в холодный ветер.

А Софи Шики стояла под фонарем и смотрела, как они обнимаются, касаются друг друга, лепечут что-то друг другу — и с каждым мигом все крепче сливаются воедино. Она думала о том, сколько людей жаждут обнять любимого человека, но обнимают лишь пустоту, и о том, что пусть не так часто, как в сказках и легендах, но холод и море все же возвращают людям тех, кого у них отняли. И обдуваемый ветром силуэт соединившихся супругов слился в ее воображении в гармоничное целое с образом очага в доме четы Джесси и чудесным уютом вечернего чаепития. «Вот она, жизнь после смерти», — подумала Софи, тактично отворачиваясь от растрепанной и счастливой миссис Папагай и устремляя взгляд туда, где иссякал свет фонарей и начинались чернильно-черные небо и море.